



Все
сказки

Ганса Христиана
Андерсена



КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Подарочные издания. Иллюстрированная классика

Ганс Андерсен

**Все сказки Ганса
Христиана Андерсена**

«Алисторус»

УДК 82-34
ББК 82.3(3)

Андерсен Г. Х.

Все сказки Ганса Христиана Андерсена / Г. Х. Андерсен —
«Алисторус», — (Подарочные издания. Иллюстрированная
классика)

ISBN 978-5-907028-58-6

Впервые в России – полное собрание сказок Ганса Христиана Андерсена в одной книге! В этой книге собраны все сказки всемирно известного датского писателя, переведенные на русский язык за последние 150 лет. Проиллюстрированы они лучшими произведениями из букинистических изданий XIX–XX веков и дополнены жизнеописанием и личной перепиской автора. «Жизнь – прекраснейшая из сказок», – утверждал Ганс Христиан Андерсен. Его сказки – неотъемлемая часть и детского, и взрослого мира. Они актуальны для любого возраста. Сказки Г. Х. Андерсена обладают особой атмосферой, их не спутаешь ни с какими другими. Все знают их героев – маленькую девочку Герду, не испугавшуюся Снежной королевы, и нежную Элизу, готовую на любые подвиги, лишь бы расколдовать своих братьев-лебедей, трогательную Дюймовочку и стойкого оловянного солдатика... В удивительном мире Андерсена все дышит волшебной жизнью: даже самые обычные вещи по ночам разговаривают, мирятся и ссорятся, стремятся к любви и счастью...

УДК 82-34
ББК 82.3(3)

ISBN 978-5-907028-58-6

© Андерсен Г. Х.

© Алисторус

Содержание

Великий сказочник	7
Детство	10
Призраки прошлого	12
Большой город	16
Копенгаген XIX века	20
Путешествия	22
Андерсен и дети	26
Последние годы жизни	28
Сказки	31
1830-е	31
Затонувший монастырь	31
Огниво	32
Маленький Клаус и Большой Клаус	36
Принцесса на горошине	44
Цветы маленькой Иды	46
Дюймовочка	51
Нехороший мальчик	58
Дорожный товарищ	60
Русалочка	73
Новый наряд короля	86
Калоши счастья	89
Ромашка	108
Стойкий оловянный солдатик	110
Дикие лебеди	113
Эльф розового куста	124
Райский сад	127
Сундук-самолет	135
Аисты	139
1840-е	143
Злой князь	143
Оле-Лукойе	144
Свинопас	154
Гречиха	158
Бронзовый кабан	159
Побратимы	167
Роза с могилы Гомера	173
Ангел	174
Соловей	176
Жених и невеста	183
Гадкий утенок	185
Ель	192
Снежная королева	197
Конец ознакомительного фрагмента.	217

Ганс Христиан Андерсен

Все сказки Ганса Христиана Андерсена

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

* * *

Великий сказочник

«Из тех, чье имя кончается на „сен” никогда ничего не выйдет путного», – говорит одна из сказочных героинь Андерсена. Как это ни странно, но Ганс Христиан, мягко говоря, недолюбливал свою фамилию. Для него она была постоянным напоминанием о нищете, беспорядности и унижении, которое терпят люди из низших сословий. В Копенгагене, в музее Баккхаз, хранится страница из дневника Андерсена, где писатель убористым почерком вывел длинный столбец с именами знаменитых людей своего времени, чьи фамилии заканчивались на «сен»: Торвальдсен, Якобсен, Хансен, Йенсен и прочие... Этот листок был утешением... или подтверждением, что талантливые люди рождаются как в богатых, так и в бедных семьях.

Однако для большинства людей, окружавших Ганса Христиана, он был человеком невероятно амбициозным и тщеславным, которому удача улыбнулась еще в юности и не оставляла его ни на минуту. Ведь со стороны он казался действительно везунчиком, сумевшим подняться с самых низов общества до его вершины. Если верить английскому писателю Эдмунду Госсе, то «в середине XIX века Андерсен был самым знаменитым человеком во всей Европе». И хотя всю свою жизнь Андерсен совершенно осмысленно шел к славе и признанию, даже он вынужден был удивляться той метаморфозе, что с ним произошла: «Я приехал в Копенгаген оборванным нищим мальчишкой с жалкими пожитками под мышкой, и вот теперь я пью свой горячий шоколад за одним столом с королевой».

Первое признание пришло к Андерсену после романа «Импровизатор», в котором он описал свое путешествие по Италии. Это произведение довольно быстро было переведено на несколько языков, ведь в ту пору не было лучшего чтива, чем заметки путешественника. Тем более что Андерсен вплел их в столь изящную и романтическую канву, что у читателей наворачивались слезы. Казалось, Андерсен достиг, чего хотел. Однажды, когда он был еще мальчишкой, мать спросила у него: «Что же ты собираешься делать?» Андерсен ответил: «Я прославлю твое имя». Но славы было недостаточно. Он верил, что способен на большее, но найти это большее тогда не мог. В письме к своему ближайшему другу Эдварду Коллину он писал: «Даже у самого чистого и спокойного озера есть глубины, о которых не догадывается ни один ныряльщик».



Портрет Ганса Христиана Андерсена. Гравюра из книги 1896 года издания

Постоянное беспокойство, нервные срывы, желание сделать большее доставляли страдания не только Андерсену, но и его друзьям, которые вряд ли могли помочь писателю укрыться от собственных мыслей. Он не желал никого видеть, но и оставаться подолгу в одиночестве ему было невыносимо. Андерсену всюду чудились насмешки и издевательства. Ему казалось, что глумливый шепот, словно шлейф, тянется за ним сквозь всю его жизнь, из самого детства. «Он безумен так же, как и его дед» – эти слова, сказанные когда-то одной из девочек-соседок, навсегда остались в памяти писателя. «Если бы вы смогли заглянуть в самые недра моей души,

вы бы поняли источник моего одиночества и пожалели меня», – писал Андерсен Эдварду Коллину.

Андерсен до самой старости оставался беззащитным ребенком, жаждавшим защиты и утешения. Его самый главный жизненный опыт был извлечен из детства. И именно детские ощущения стали основой его сказок. Мир фантазии и мир реальности для Андерсена всегда составляли единое целое. Он слышал голоса цветов и видел, как грустят старые дома. Приходя в гости к друзьям, у которых были дети, он неизменно становился центром их внимания, и волшебные истории, словно красочный фейерверк, вырывались на свободу, навстречу внимательным слушателям.

Многие из сказок, что были рассказаны детям, не дошли до наших дней. Андерсен их не записывал, считая, что посиделки с детьми – всего лишь шутка или развлечение. И только в 1836 году, когда писателю был 31 год, он решил выпустить первый сборник сказок, который так и назвал «Сказки, рассказанные детям». Это была тоненькая брошюрка, в которую вошло всего четыре волшебных истории. Их оказалось достаточно, чтобы взорвать общество и заставить его говорить только о нем. Талантливый скульптор и тезка Андерсена Ганс Христиан Орстед, прочитав первый сборник сказок, сказал: «Благодаря „Импровизатору” ты стал знаменит, а сказки сделают тебя бессмертным».



Ганс Христиан Андерсен читает сказки детям

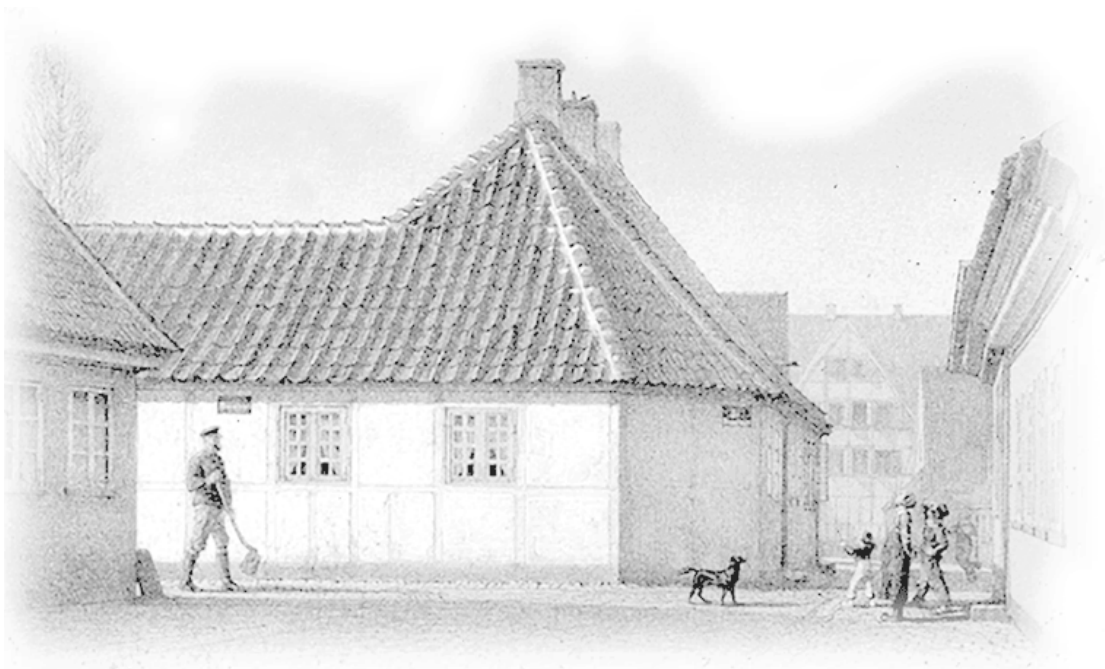
Детство

В час ночи 2 апреля 1805 года, в бедном квартале датского города Оденсе появился на свет орущий комочек. Отец семейства старался больше времени проводить со своей женой и новорожденным сыном, читая Хольберга и поражаясь, как может это маленькое существо издавать столь пронзительные звуки. Когда мальчика крестили, священник заметил, что раз он так громко кричит, значит, будет хорошо петь.

Так началась жизнь Ганса Христиана Андерсена. Дом, где провел свое детство будущий сказочник, стоял на Мюнкемёллештраде – одной из самых бедных улиц Оденсе начала XIX века. В левом крыле обитал шляпник с женой и троими детьми, посередине – перчаточник с большим потомством из шести человек, а слева – семейство башмачника Андерсена. Впрочем, для того времени такие коммуналки были обычным делом. И несмотря на то что Оденсе XIX века называли «маленьким Копенгагеном», до столицы ему было далеко. Расположенный на острове Фюн, он неохотно принимал плоды цивилизации и продолжал хранить обряды и традиции, о которых в столице уже успели забыть. Но зато здесь были свой епископ, кафедральный собор, театр и резиденция кронпринца. Дети из бедных районов бегали смотреть на богатые дома состоятельных горожан. И не только дети. Отец Ганса Христиана, кстати сказать, тоже Ганс Христиан, очарованный прекрасными садами благородных семейств, втайне мечтал о собственном доме с садом, в котором бы росли самые прекрасные розы. Он был человеком одаренным, с поистине поэтической душой. Кроме обуви он мог легко мастерить деревянные игрушки и нередко устраивал настоящие театральные представления. Позднее и маленький Андерсен подключился к отцовскому хобби. Вырезать из дерева Христиан так и не научился, но зато легко освоил бумагу и уже в зрелые годы мог обычный листок превратить в тончайший узор, что приводило в восторг слабый пол.

Мать будущего сказочника была женщиной доброй и набожной. Она любила шнапс, белые занавески и верила в привидения. В автобиографии «Сказка моей жизни» Андерсен писал о ее способности держать дом в чистоте. Ведь комната была и спальней, и столовой, и мастерской башмачника, и местом для забав маленького сына. От отца он унаследовал любовь к книгам, которые заменили ему товарищей по играм; от матери – глубокую веру. Но кроме этих двух близких ему людей были у Андерсена и другие учителя. Его старая бабушка постоянно повторяла: «Христиан такой умный мальчик... Он долго не проживет». Однако подобное убеждение вовсе не мешало старушке рассказывать внуку сказки и легенды, а также время от времени напоминать о том, что лучше бы ему, маленькому мальчику, держаться подальше от деда.

Андерс Хансен Траес – дед Андерсена – также умел вырезать из дерева, но его фигурки имели весьма странный вид. Головы с крыльями или полулюди-полузвери, а то и люди, и звери, и крылья, скроенные воедино. Он был душевнобольным и большую часть времени проводил дома, лишь иногда уходил в лес, откуда возвращался весь обвешанный цветами и ветками. Обычно он тонким голосом распевал песни, и свора мальчишек бежала за ним с дикими воплями. Даже тогда, в детстве, Андерсен чувствовал, что многое унаследовал от деда. Чувствовали это и окружающие. Нередко ему приходилось слышать насмешливые слова своих сверстников: «Ты такой же сумасшедший, как и твой дед». Но, видно, беспокойной была вся мужская ветвь Андерсенов.



Дом Андерсена в Оденсе. Старинная гравюра

В 1812 году отец Андерсена отправился на войну с Наполеоном. Романтик в душе, он всегда мечтал о путешествиях, и война, как ему казалось, давала возможность увидеть мир. Через четыре года отец вернулся, но свою силу и здоровье оставил на войне. Однажды вечером, когда у отца начался очередной приступ, мать отправила Христиана в деревню Эйбю, что в нескольких километрах от города. Дорога лежала вдоль реки (в городе поговаривали, что в ней живут души утопленников), через старую рощу к дому колдуньи. Знахарка жила в неприглядном месте в старом обшарпанном доме. Узнав причину визита, она посоветовала мальчику внимательно смотреть в туман, когда будет возвращаться домой. Если он увидит там фигуру своего отца, значит, смерть уже постучалась в их дом. Андерсен ничего не увидел, а через два дня отца не стало. «Это был первый день в моей жизни, когда я узнал по-настоящему, что такое горе», – позднее вспоминал Андерсен. С этого дня вся жизнь будущего писателя изменилась.

Призраки прошлого

«Когда-нибудь ваш сын станет знаменитым, и Оденсе зажжет в его честь огни», – сказала прорицательница матери Андерсена, когда он был еще ребенком. Трудно сказать, чем руководствовалась пифия Оденсе, жалостью к мальчишке, над которым смеялся весь город, или действительно она смогла заглянуть в будущее, в 1867 год...

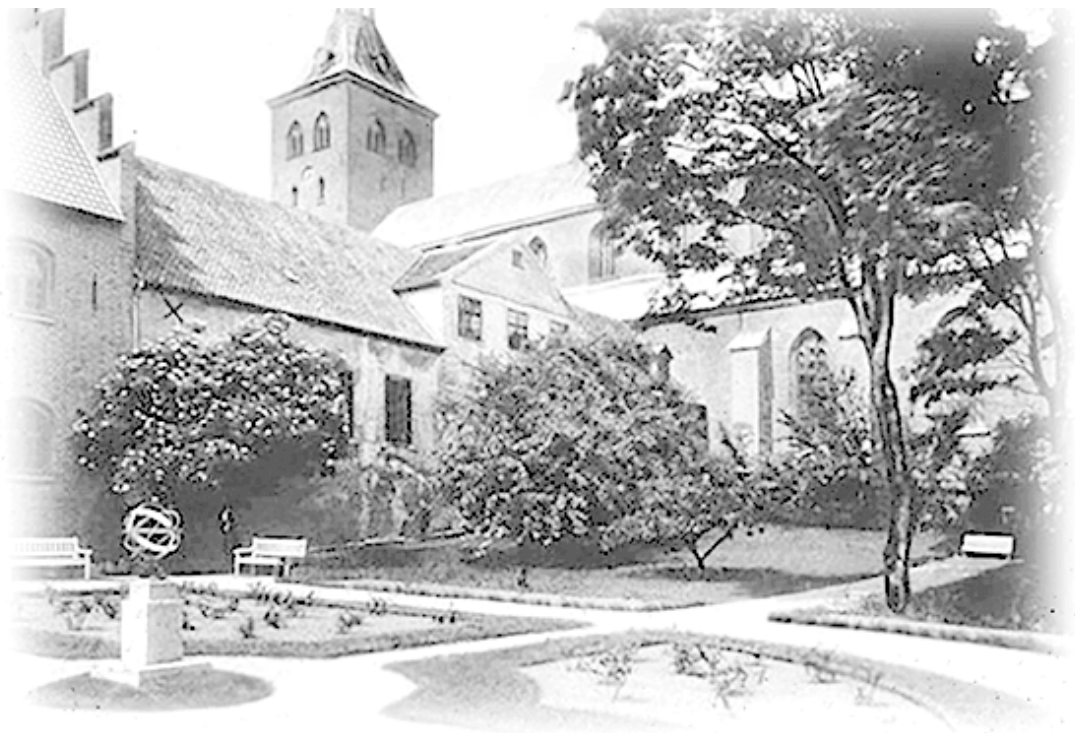
Именно тогда, будучи уже стариком, Ганс Христиан вновь приехал в родной Оденсе. Знаменитый писатель стоял у распахнутого окна городской ратуши. В небе сверкал фейерверк, а на глазах собравшихся под окном людей – слезы восторга. Этого момента Андерсен ждал всю жизнь, но в реальности триумф оказался совсем иным. «У меня ныл зуб, и потоки декабрьского ветра, что врвались в окно, делали боль невыносимой. Я смотрел на собравшихся внизу, слышал звуки торжественного гимна и думал только об одном: когда же, наконец, это все кончится и я уйду спать; прочь от хора, приветственных криков и этого холодного ветра, что приносит столько боли», – вспоминал Андерсен. Однако в ту декабрьскую ночь зубная боль была лишь началом куда более мучительных испытаний – испытаний памятью.

Попав в город детства, 62-летний писатель, будто заново прожил свою жизнь, те времена, когда после смерти отца он отказывался выходить на улицу и сидел дни напролет в крошечной комнатенке на Мюнкемёллештраде. Наступили тяжелые времена. Его мать для того, чтобы прокормить себя и сына, бралась за все, что только подворачивалось под руку. Но что более всего запомнилось самому Андерсену – это стирка. Мать часами простаивала по колено в воде, перестирывая белье господ. Особенно тяжело ей приходилось в зимние месяцы, когда мокрую юбку сковывал мороз, волосы превращались в сосульки, а посиневшие руки продолжали бить и полоскать белье. В те годы мать больше уж не пила свой любимый шнапс, его заменил более эффективный джин. Позднее Андерсен посвятил ей рассказ «Пропавшая», где описал, как ему, мальчишке, приходилось выслушивать от сердобольных соседюшек упреки в адрес матери: «Ты славный мальчик. Мать, верно, положет белье на реке, а ты тащишь ей чем подкрепиться? Сколько у тебя там – полкосушки?.. Скажи своей матери, что стыдно ей. Да смотри сам не сделайся пьяницей... Впрочем, что и говорить: конечно, сделаешься! Бедный ребенок». И шансы пристраститься к спиртному у Христиана были. Ведь и ему надо было согреться. Так и грелись: пару глотков выпивала мать, один – сын. Он знал, что она не читает книг, не ищет в жизни большего, чем дано, постоянно зовет в дом предсказательниц и знахарок. Но она любила его, и она была его матерью. «Я работаю сколько хватает сил... Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик».

Холодный ветер бил в стекло. Знаменитый Ганс Христиан сидел, поджав ноги, и все глубже и глубже уходил в воспоминания детства. Зубная боль утихла, но сердце щемило так, что казалось, оно вот-вот разорвется на части. В окне темным силуэтом устремлялся в небо собор Святого Кнуда. Церковь, с которой так много всего было связано. Он знал ее с самого рождения, в ней он пел в церковном хоре и сюда раз в неделю мать водила его на воскресные проповеди. А в дальнем крыле Святого Кнуда (оно скрывалось за башней) располагалась приходская школа. Андерсен все еще помнил хлесткие удары учительской указки...

Он никогда не был прилежным учеником, не учил уроков, не пытался постичь сложную математику и заковыристую грамматику. По дороге в школу он бегло прочитывал заданное, и этого ему казалось достаточно. Андерсен так и не научился писать без ошибок. И учитель столь неистово работал указкой, вколачивая науку в пальцы будущего писателя, что мальчик не мог держать перо. Мать сжалилась над ребенком и перевела его в еврейскую школу, где, как было известно, детей не наказывали. Кроме умного преподавателя в новой школе Андерсен обрел друга. Ее звали Сара. Изящная девочка была единственным ребенком, считавшим, что Христиан милый. Однажды она поцеловала его в щеку и сказала, что, когда вырастет, ста-

нет его женой. В благодарность за ее любовь Андерсен рассказал Саре свою самую страшную тайну: «На самом деле я из благородной семьи. Вот увидишь, когда-нибудь передо мной будут снимать шляпу...» Сара рассмеялась и многозначительно покрутила пальцем у виска. Дружба кончилась, и свадьбы не случилось, но память о Саре осталась на всю жизнь. И знаменитая привычка Андерсена носить в петлице цветок была воспоминанием об очаровательной Саре, которая когда-то подарила ему белую розу.



Собор Святого Кнуда. 1930 год

Здание еврейской школы все еще стоит на одной из улиц старого Оденсе, и обветшалая табличка скромно возвещает прохожим о том, что в ней когда-то учился великий сказочник.

Мать не сильно ругала сына за нерадивость в учении, ведь она прочила ему совсем иное будущее. Практичная женщина знала, что прокормить себя и свою семью может лишь тот, кто умеет работать руками. И в один из будничных дней бабушка Христиана взяла его с собой на швейную фабрику. Путь был недалеким, всего каких-нибудь двести метров. Первый день работы показался Христиану подарком судьбы. Знакомые его бабушки, знавшие о певческом таланте мальчика, попросили его спеть. Чистое и звонкое сопрано так контрастировало с нелепой внешностью Христиана, что не обратить на ребенка внимания могли только глухие да слепые. В восторг пришли даже неотесанные немцы, их, как правило, нанимали на самую грязную работу, как временщиков. Но вслед за успехом пришло горькое разочарование в людях. На следующий день наемники принялись смеяться над его тонким голоском. Кто-то предложил проверить, а не девочка ли этот долговязый паренек. С Андерсена стянули штаны и под общий гогот проверили... «Мне было так стыдно, что я залился краской и что есть сил кинулся домой... Больше мать не отправляла меня на эту фабрику».

После этого события Андерсен окончательно ушел в себя. Его лучшими друзьями стали деревянные куклы, сделанные когда-то отцом. Он шил им платья, придумывал для них смешные и грустные истории, в которых куклы оживали. Забавно, но Андерсену не хотелось, чтобы его принцы и принцессы говорили на датском языке. Для своих героев он придумал новый

язык, некую помесь датского, немецкого, английского и французского. «В ту пору я был очень одинок, но, играя в мой маленький театр, я чувствовал себя по-настоящему счастливым». Андерсен хорошо помнил своего старого толстого кота Карла, который был единственным свидетелем его игр. Он же был слушателем его первых сказок. Карл всем был хорош, но имел один недостаток – быстро засыпал. Тогда одну из придуманных историй Христиан рассказал соседке фрекен Шенк из дома 5 на Мюнкемёллештраде. Та внимательно выслушала мальчика, но лишь посмеялась над его увлечением, заметив, что рассказывать байки удел старух в богадельне. Дальше пошел ее сын Готфред Шенк. Прознав об увлечении Андерсена, он дразнил соседа «писателем пьес» и при каждом удобном случае колотил его почем зря...

Буря стихла, и промерзшие ветви, устав раскачиваться под песню ветра, застыли в мертвой тишине. И этот родной спящий город, который всего несколько часов назад так старался выплеснуть на него свою любовь, снова оставил писателя в одиночестве. Странно, что единственное знакомое лицо, которое встретил Андерсен среди ликующей толпы, было лицо Готфреда Шенка. Он стал довольно полным мужчиной, главой семейства. Его одежда была поношенной и выглядела неопрятно. Неужели это тот забияка, который так любил избивать своего долговязого соседа? Ганс Христиан дал ему один риксдалер (это примерно 200 крон) и почувствовал, что ему неловко смотреть в глаза этому несчастному человеку. Если посчитать, сколько раз после смерти отца Андерсен улыбался, то получалось совсем немного, но все-таки был момент, когда он мог сказать – я самый счастливый человек в мире.

Это произошло в июне 1818 года. Андерсену исполнилось 13 лет, и он чувствовал себя исключительным, как, впрочем, многие дети этого возраста. Он уже мечтал о театре и представлял себя знаменитым актером. И вдруг в город приехала труппа королевского театра из Копенгагена. Андерсен крутился возле театра Оденсе, пытаясь всеми правдами и неправдами пробраться за кулисы. Он был столь настырен, что в конце концов разносчик афиш пообещал Андерсену провести его за сцену. Мечта сбылась, он оказался в мире иллюзий и надежд. Долговязого, неуклюжего мальчишку трудно было не заметить среди разряженной актерской братии. Тем более что он довольно скоро оказался очень даже полезным. Капризные актрисы легко нашли в нем исполнителя любых желаний, а самовлюбленные столичные светила – восторженного слушателя разных побасенок. Но Андерсену нужно было больше. Он хотел на сцену. Хотел петь, танцевать, в общем, играть эту ненастоящую, но такую праздничную жизнь. Ему повезло, заболел кто-то из второстепенных актеров, и Христиан вышел на сцену.

«Я надел мой красный шелковый костюм, вышел на сцену и сказал те несколько слов, что мне полагалось. Я искренне верил, что в этот момент весь зал смотрит только на меня». Это была незначительная роль в легкомысленной оперетте, и все-таки это был успех. Только одно событие омрачило первый успех. Мать Андерсена, не в силах более выносить тяготы нищеты, решила снова выйти замуж. Ее избранник имел дочь, ремесло башмачника и скверный характер. С отчимом Андерсен не ладил. Испортились и отношения с матерью, которую он ревновал к приемной сестре Карен Мари.

«У меня в те годы появилась привычка сидеть подолгу у реки и наблюдать за работой мельничного колеса. Когда на Оденсе опускался вечер, я начинал петь мои импровизации. Я перекладывал на музыку любые истории, которые приходили мне в голову». Скоро о привычке Андерсена узнал весь город. Многие люди приходили к реке, чтобы его послушать. А благородные семейства приглашали его к себе в дом. «Маленький соловей с острова Фюн» прозвали его первые поклонники. Так к Андерсену пришла первая известность. О нем заговорили как о провинциальном самородке. Что еще было надо мальчишке, мечтавшем о славе? Денег, чтобы добраться до Копенгагена. Ведь Оденсе был слишком мал для его таланта.

2 сентября 1819 года Андерсен получил свой первый гонорар. Он выступил в доме священника. «Мы собрались в круглой комнате, и этот маленький джентльмен на протяжении двух часов импровизировал и играл сцены из разных пьес. Мы были в восторге, но порой,

когда юноша принимался исполнять роли любовников, нам не хватало воздуха от смеха. Так неуклюже он становился на колени, вытягивая свои длинные ступни», – вспоминала одна из дам, видевшая выступление. Как бы там ни было, но уже через полгода Андерсен собрал 13 риксдалеров и в придачу получил рекомендательное письмо к ведущей балерине королевского театра Анне Маргарете Шелл.

В солнечный полдень 4 сентября 1819 года он уже сидел в почтовом дилижансе, готовый покорять мир. «Он вернется, как только увидит бушующее море», – говорила мать Андерсена. Она была уверена, что 14-летний мальчик не осмелится на столь долгое путешествие. Ведь Андерсену предстоял путь не просто в другой город, а на другой остров, на Зеландию, именно там находился город его мечты – Копенгаген.

Мать ошиблась. Ганс Христиан вернулся в Оденсе лишь через 50 лет. И это возвращение принесло ему столько боли и страданий, что, не выдержав и недели, он снова покинул его, уже навсегда.

Большой город

Сегодня, чтобы добраться из Оденсе в Копенгаген, потребуется чуть более четырех часов. Но в начале XIX века такая поездка занимала минимум два дня. Люди состоятельные могли превратить ее в приятное путешествие, прочие же довольствовались почтовыми дилижансами, в которые набивалось до пяти человек. В тесном трясущемся помещении шуршали дамские платья, слышался плач детей, благоухали ароматы из котомок со съестными припасами, а жесткое сиденье напоминало о кочках и ухабах под колесами. Усевшись в углу одного из таких дилижансов, Ганс Христиан Андерсен начал свое путешествие в столицу. На первой же остановке в Ньюборге он почувствовал себя самым одиноким и несчастным человеком на свете. И дело было не столько в дорожных неудобствах, сколько в щемящем чувстве голода и ощущении, что он достиг конца света. Ведь Ньюборг с давних пор считался воротами в другой мир. Это была крайняя точка острова Фюн. Впереди черной массой волновалось море, отделявшее Фюн от Зеландии – острова, на котором стоит Копенгаген.

Теперь между этими двумя островами протянулся мост, но в начале XIX века о нем не было и речи, так что всякому путешественнику приходилось иметь дело с капризной стихией. Надо сказать, что с морской болезнью в те времена боролись весьма своеобразными способами. Некоторые, например, оборачивали ноги и живот пергаментной бумагой, считалось, что это помогает. Другие всю дорогу жевали лимон или клали под язык мускатный орех. Андерсен за свое недолгое морское путешествие вдоволь насмотрелся на людские причуды. Особенно ему запомнилась одна гувернантка, обвязавшая шерстяной ниткой левое запястье... Но 14-летнего Христиана морской недуг не беспокоил, куда страшнее было созерцать строптивую синеву. Ему казалось, что он плывет над дворцом морского царя, который непременно хочет потопить суденышко. И может статься, одна из царских дочерей сжалится над ним и не даст утонуть...

Сырой туман, поглотивший последние лучи солнца, сомкнулся у кормы, и лишь тусклый свет фонаря освещал ближние канаты... Ночь сморила море и обитателей судна, а утро следующего дня встретило путников в городе Корсор. «Я стоял в стороне и жевал хлеб, что приготовила мне в дорогу мать. Прочие пассажиры не обращали на меня внимания. И мне было очень одиноко... Но вот возникший протрубил в рожок, и мы тронулись в путь». Почтовый дилижанс затрясся по дорогам Зеландии, устремляясь на северо-запад к Фредериксбергу. В ту пору это была единственная дорога – дорога Роскильде. Так что всякий, кто держал путь на Копенгаген, обязательно оказывался и в Фредериксберге. Здесь же рано утром 6 сентября 1819 года остановился дилижанс Андерсена. Для мальчика это был конечный пункт. Заплатив три риксдалера, он покинул карету и двинулся в город, главной достопримечательностью которого был прекрасный замок – летняя резиденция датских королей. Замок стоял на холме в окружении садов, парков и каналов. В летние месяцы сюда приезжало множество людей, чтобы полюбоваться белой лодкой короля Фредерика VI – любителя водных прогулок и восторженных зрителей. Но час стоял ранний, и его величество еще не выплыли. Так что парки и сады пустовали, зато за пределами королевских владений жизнь была ключом. Торговцы, купцы, скупщики краденого и прочий люд толпились у ворот замка, собираясь направиться в столицу. К этой пестрой компании и примкнул юный путешественник.



Копенгаген. 1890–1900 годы

«Если бы перед ним открылся город с домами из мрамора и дворцами из прозрачного стекла, он бы не удивился... он был готов ко всему, но увидел совсем не то, что ожидал», – писал Андерсен в автобиографическом романе «Всего лишь скрипач». Город не просто восхитил – он поразил Христиана.

Копенгаген начала XIX века был весьма невелик и все еще сохранял черты города-крепости, окруженного оборонительными рвами. Четверо ворот вело в его недра, и все они на ночь запирались. Говорили, что прежде, до 1808 года, ключи отдавали королю, и его величество клала их под подушку. Ганс Христиан Андерсен вошел в город через Западные ворота и сразу попал в водоворот столичной жизни. «По узким улочкам с шумом катили кареты и экипажи, люди шумели и кричали, мужчины и женщины, разодетые, как господа, проходили мимо друг друга, не здороваясь», – вспоминал позднее сказочник. Копенгаген был исчерчен каналами, и всюду виднелись корабельные мачты. Их было так много, что город походил на игольную подушку. Дома тесно липли друг к другу, соревнуясь в изысканности. Но все эти прекрасные особняки были не для Андерсена. Дорогой Христиан узнал, что бедному чужаку лучше всего было бы остановиться на Вестергаде – узкой, невзрачной улице, застроенной приютами, доходными домами и дешевыми гостиницами, в одной из которых он и остановился, взяв комнатку с видом на осколок кирпичной стены. Впрочем, убогий пейзаж сполна заменяла богатая палитра уличных звуков. «Город точно лихорадило. Казалось, все жители вышли на улицу и принялись голосить. Шум и грохот были такими, что закладывало уши. И мне казалось, что все это признаки большого города», – записал Андерсен в одном из дневников. Наивный мальчишка из сонного Оденсе был в восторге, он даже не заметил, какую жуткую вонь источают столь восхитившие его каналы. Андерсен приехал в Копенгаген завоевывать мир и принялся за это нелегкое дело сразу же по прибытии.

Кинув вещи в гостинице, Христиан первым делом справился, где находится театр. На такой простой вопрос не ответил бы разве что немой. Ведь это был золотой век копенгагенского театра. Время, когда главными героями салонов и салонных разговоров становились актеры и

драматурги. Об актрисах и танцовщицах кричали разносчики газет, о них шептались в кабаках и на грязных улочках, в том числе и на Вестергаде. Так что в придачу к адресу Христиан получил массу информации о том, кто блистал накануне и чей кошелек отошел в пользу примы-балерины. Услышав имя знаменитый танцовщицы Анны Шелл, Андерсен вспомнил о рекомендательном письме к ней, но не стал спешить с визитом, решив сперва ознакомиться с театром.

Величественное здание возвышалось на углу Конгенс Нюторв – Новой Королевской площади. И сегодня копенгагенцы гордятся правильностью его линий и изысканностью форм. Что же говорить о тех временах? Это был настоящий храм искусства. В общем, Андерсен не разочаровался в своем выборе, и дело оставалось за малым – войти в этот храм. Ему было все равно, в каком качестве: певцом, танцором, драматическим актером или автором пьес. Но поскольку рекомендательное письмо было адресовано балерине, то, как решил сам Христиан, правильнее всего было выбрать карьеру танцора.



Королевский театр в Копенгагене. 1890–1900 годы

Дом Анны Маргареты Шелл стоял на одной из самых приятных улиц Копенгагена, на Бредгаде. Свою привлекательность улица не утратила и по сей день. Но существенное изменение в ее облик внесли многочисленные витрины магазинов, которые расположились в старых домах, вытеснив актерскую братию. Ведь Бредгаде располагается неподалеку от театра, и во все времена основными ее обитателями были люди искусства. Балерина Шелл жила в узком строении под номером 19. Однажды утром в ее гостиную явился молодой человек в огромных башмаках, которые при каждом шаге издавали протяжный стон. Это был Андерсен. Беднягу с самого начала ждало разочарование. Рекомендательное письмо, что так услужливо написал ему один из оденских деятелей, оказалось фальшивкой. Мадам Шелл слыхом не слыхивала ни о каком Иверсене, но любезно согласилась принять странного юношу, о чем тут же горько пожалела. С провинциальной непосредственностью Андерсен скинул скрипучие ботинки и торжественно отнес их в угол гостиной. Затем последовало представление. Он пел, читал сцены, пытался музицировать... Но когда дело дошло до танца с тамбурином, терпение мадам Шелл лопнуло, и она попросила юное дарование немедленно покинуть дом. Эта неудача ничуть не смутила Андерсена. Он был уверен, что рожден для театра, просто дама не увидела его талант.

И юноша недолго думая отправился к директору Королевского театра, дабы тот позаботился о его будущем. «Молодой человек, вы слишком тощий для театра», – заявил директор, смерив долговязое тело Христиана презрительным взглядом. «Но если вы одолжите мне хотя бы сотню риксдаллеров, я быстро поправлюсь», – выпалил Христиан и был не прав. Директор раздосадовался и прогнал нахала.

Андерсен все-таки попал в театр, но только в качестве зрителя. На билет он потратил все свои сбережения, и после представления в его кармане лежал всего один риксдаллер, который вскоре был уплачен за номер в гостинице. Христиан остался без денег и без жилья. Казалось, выход один – вернуться обратно в Оденсе...

Копенгаген XIX века

Копенгаген начала XIX века был далеко не самым передовым городом. В то время как улицы Лондона уже освещались газовыми фонарями, столица Дании все еще утопала в мутном сиянии масляных светильников. А в лунные ночи по решению городского совета выключали и их, в целях экономии. Вот когда начиналось раздолье для охотников за запоздалыми прохожими, среди которых блуждал и Ганс Христиан Андерсен. Правда, вид будущего сказочника был малопритягателен для воров и преступников. Его ботинки прохудились, и отцовское пальто охотно подставляло дыры навстречу промозглому ветру. Юноша с любопытством заглядывал в окна дорогих домов.

Там за тяжелыми гардинами смеялись и музицировали, ели отменные кушанья и пили ароматные вина. Казалось, что эти люди живут совсем в другом городе и не знают, что на старой рыночной площади Гаммельторв зарезали торговку рыбой за то, что она якобы кого-то обвесила. А у водяной колонки подрались два здоровяка, не поделив очередь. Владельцы роскошных домов жили в другом мире. Мире, где рыба не воняет, а пахнет; где вместо мокрой картонки мягкая постель; где дымится утренний кофе и из булочки вытекает повидло. Христиан бредил этим миром. Он был уверен, что рожден для него, но надежды Андерсена рушились. Он ехал в город-праздник, а оказался в городе-призраке. Он мечтал о Королевском театре, но прима-балерина выгнала его взашей. Юноше в пору было отчаяться и вернуться в свой родной Оденсе, но не таков был характер у Андерсена. С настойчивостью провинциала он пробивал себе дорогу в театр. И поскольку Христиан был абсолютно уверен в своей исключительности и всесторонней одаренности, проблема с балериной казалась лишь незначительной преградой на пути к сцене. «В конце концов совершенно необязательно быть танцором, если ты имеешь замечательный голос, которого, кстати, никто из знаменитых копенгагенцев еще не слышал». Рассудив таким образом, юный Христиан отправился демонстрировать свое сопрано к профессору Сибони.

Мелкий дождь моросил по брусчатке, тыкался в лицо и длинными каплями вис на носу. Промокший и озябший Христиан стоял на улице Вингардсстраде у дома номер 5. Особняк синьора Жузеппе Сибони светился окнами. Наверху хлопнула фрамуга, выпустив звуки заливающего смеха. Профессор Королевской консерватории давал званый ужин, и Андерсену было как-то неловко врываться на чужой праздник. Но дождь становился сильнее, ветер дул крепче и деваться было некуда. Набравшись храбрости, Христиан решительно дернул колокольчик. Трудно сказать, что ему помогло. То ли служанка была не в силах выслушивать от странного незнакомца всю историю его жизни, а именно с этого начал Христиан, то ли гости устали сами себя веселить, то ли звезды как-то особенно сошлись над головой юноши, но его пригласили в дом.

«Маленький соловей с острова Фюн» развлекал гостей Сибони весь оставшийся вечер. Собравшиеся были довольны. Этот нелепый парень мог заставить смеяться кого угодно. Конечно, большинство из зрителей просто потешались над ним, а Христиану казалось, что это настоящий успех. На самом деле это и был успех. Среди гостей присутствовал известный композитор того времени господин Вейсе. «Уверю вас, господа, когда-нибудь из этого мальчика выйдет толк», – сказал он и шумно зааплодировал юному дарованию. Вейсе был единственным, кто отнесся к Христиану серьезно, ведь он сам приехал в Копенгаген без гроша и пробился в люди благодаря таланту и, как говорится, добрым людям. Когда вечер закончился, служанка, провожая Андерсена, сообщила ему адрес Вейсе и время для визита.

Вейсе не имел собственного дома. Он снимал апартаменты. По словам Андерсена, его комнаты не отличались особой роскошью, но были уютны. Он жил на Кронпринцгаде и имел удовольствие любоваться королевским садом из окна собственного дома. Андерсен искренне

позавидовал этому человеку, ведь он жил рядом с Розенбергом – розовым замком его королевского величества.

«Вы будете получать талоны на обед и ежемесячное пособие в размере 10 риксдалеров, – сообщил композитор юноше. – Кроме того, вам необходимо выучить немецкий: профессор Сибони, итальянец по происхождению, плохо владеет датским. Он будет давать вам уроки вокала. Также побеспокойтесь о жилье, вашего пособия должно хватить на недорогую комнату». Новая жизнь началась. Андерсен снял комнату у вдовы Торгсен. Она жила в пяти шагах от особняка Сибони, и это было удобно, если не считать, конечно, что комната Андерсена была чуланом без окон, без света, без тепла. «Чтобы заснуть, я сворачивался калачиком и дышал в ладони. Мне казалось, что из моего рта идет пар, будто я сплю на улице... Зато утром я оказывался в прекрасных покоях Сибони...» – писал Андерсен в своем дневнике.

Занятия вокалом были по душе Христиану, но вот беда, характер итальянца Сибони оставлял желать лучшего. «Порой, когда профессор приходил в ярость, я так пугался, что начинал дрожать всем телом, мой голос срывался, а по щекам текли слезы», – вспоминал сказочник об уроках с Сибони. «Раздосадованный синьор Жузеппе прогонял меня прочь, а через минуту звал обратно и в знак примирения дарил мне монету». Надо сказать, что в отличие от Андерсена, который к своим занятиям относился со всей серьезностью, Сибони просто жалел паренька. Он прекрасно знал, что такое мальчишеское сопрано. «Как только начнется ломка голоса, нежные звуки превратятся в кряканье», – отвечал он на похвальные речи композитора Вейсе. Так и случилось. Христиан потерял голос, и холеричный итальянец прогнал его прочь. Позднее, рассказывая о том поражении, Андерсен вспоминал старинную датскую песню о соловье, который пел для розы, но налетел на шипы.

Но, несмотря на отчаяние, Андерсен и не думал возвращаться в Оденсе. «Если я не стану знаменитым, то и жить незачем», – писал сказочник в автобиографическом романе «Всего лишь скрипач». Что ж, судьба благоволила к Христиану, и он все-таки вышел на сцену Королевского театра. Это случилось год спустя, когда юноша познакомился с ведущим танцором Копенгагена того времени Огюстом Бурновиллем. Нежный Огюст вызвался обучить Андерсена балету. Дело шло плохо. «Как такое гибкое тело может быть таким неуклюжим?» – удивлялся Бурновилль. Тем не менее Христиан постиг науку пластики и получил очень характерную роль тролля. «Из вас получится превосходный комедийный актер!» – уверяли Христиана артисты театра. Но такое будущее было не для него. Над Андерсеном слишком много смеялись в детстве, и выбрать сознательно профессию шута он не мог, да и не хотел. Тем не менее афишу со своим именем хранил до конца дней. И позднее, уже будучи известным писателем, вспоминал, как засыпал с этим клочком бумаги под подушкой.

Меланхоличный и замкнутый молодой человек решил испробовать последнее средство, чтобы заявить о себе всерьез. Ведь изначально он наметил себе три пути в театр: танцы, вокал и драма. Первые два этапа были пройдены, и о них не стоило вспоминать, оставалось последнее – писать пьесы. И Андерсен начал писать.

Только ленивый не смеялся над его литературными изысками. Тем более что Христиан декламировал свои произведения везде где придется. «Помните, моя дорогая, того юношу, что выступал у нас? – писала в письме к подруге одна из землячек Андерсена. – Он теперь тоже в Копенгагене. Пишет пьесы. Большой чепухи я в жизни не слышала. Но он такой неуклюжий и смешной, что его охотно зовут в дома и просят прочесть что-нибудь свое». Вероятнее всего, Андерсен догадывался, что над ним потешаются. В романе «Всего лишь скрипач» в речь матроса он вложил весьма жесткие слова, обращенные к себе самому: «Они же над тобой смеются, глупец. И зачем ты туда шляешься? Записался в придворные шуты?»

Но такова была цена за возможность стать знаменитым в большом городе. И Андерсен готов был ее заплатить. Он умышленно выбрал роль шута в жизни, а не на сцене.

Путешествия

Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен очень любил фотографироваться. И множество портретов, сохранившихся до наших дней, яркое тому доказательство. Эта страсть писателя многим казалась забавной, ведь ни красотой, ни грацией Христиан не блистал. «Он был очень худым, высоким и не то чтобы некрасивым, а каким-то тусклым, на всем его лице хорошо угадывался только нос. Он был доминантой, которая затмевала и серые глаза, и хорошо очерченный рот», – описывал Андерсена его друг Эдвард Коллин. Но Христиан охотно позировал фотографам, выставляя напоказ свои душевные мытарства. В его портретах трудно увидеть человека, довольного своей судьбой, а ведь ему могли бы позавидовать очень многие.

Он начал писать и уже в 1827 года смог заявить о себе как о поэте. Его поэма «Умиравший ребенок» нашумела больше за рубежом, чем в самой Дании, так как перевел и издал ее один немец, проникнувшийся темой и настроением. Но и датчане не остались в стороне, за Андерсеном прочно закрепилось звание талантливого юноши.

Спустя два года состоялся прозаический дебют «Прогулки от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер». Фантастическая повесть, выполненная в духе Гофмана, вызвала резонанс в обществе. «У вас прекрасный дар – находить жемчуг в сточных канавах. Берегите его», – отозвался о способностях юноши поэт Ингеман. Оборванец с острова Фюн теперь был вхож в лучшие дома Копенгагена. Он был желанным гостем у Коллинов – почтенного семейства, принимавшего известнейших людей города. Частенько навещался на вечера искусств в дом Райбеков. И те и другие принимали в его судьбе активное участие, желая обучить юношу манерам, стилю и дать ему образование. «Как он смешно кланяется! Хорошо, конечно, заботиться об образовании ума, но не надо пренебрегать и манерами! На это обращают в свете большое внимание...» – эти слова, произнесенные когда-то одной из великосветских девиц, навсегда остались в памяти Андерсена, и позднее он вложил их в уста героини из романа «Импровизатор». Подобные шпильки со стороны слабого пола больно кололи самолюбие Христиана. «Одна благородная дама вызвалась просматривать мои стихи и требовала от меня, чтобы я доставлял ей их переписанными на бумаге с большими полями для пометок. Ей мнилось, что она великий критик...» Еще хуже были попреки мужчин, которые и мысли не допускали, что провинциальный юноша может хоть в чем-то смыслить больше. Но Христиан вырос и не желал более во всем подчиняться своим благодетелям. Ему хотелось вырваться из тесного круга светских манер и назидательных речей. Он мечтал увидеть мир.

22 апреля 1833 года пароход «Фредерик VI» с Христианом на борту покинул Копенгагенскую гавань, держа путь в Германию. «Поднимем парус! Небо ясно! Кто путешествует – живет!» – писал восторженный Андерсен. Но ликование сменилось меланхолией, как только корабль достиг берегов Германии и путешественник пересел в трясущийся дилижанс. Дорогой Андерсен чувствовал себя дурно. Его терзали сомнения и страхи. На постоянных дворах он, как правило, запирался в комнате сразу после ужина и не выходил оттуда до самого утра. Христиан неоднократно рисковал опоздать, так как покидал свое убежище уже при звуках рожка, в который трубил возничий, возвещая об отправлении экипажа. И если бы не молодой человек, взятый в компаньоны, Андерсен мог бы так и не доехать до земли, которая позднее вдохновила его на первый большой роман, принесший писателю известность.



Ганс Христиан Андерсен и Йонас Коллин-младший в Бордо. 9 января 1863 года

Но дорожные неудобства стоили свеч, и в этом Христиан убедился, как только увидел Италию. «Северное небо никогда не стоит так высоко, никогда не тешит глаз такой роскошью красок, как дивное теплое южное небо... Италия – страна фантазии, царство красоты!» Андерсен упивался Италией. Вечный город встретил его торжественной церемонией перезахоронения останков Рафаэля. Это почти мистическое действие сполна возместило убогую римскую гостиницу, где так скверно топили камин, что на ночь приходилось класть в ноги грелку с горячей водой. Но зато в дневное время он находил утешение среди «римских скандинавов», что собирались в «Кафе Греко» на виа Кондотти. Здесь он познакомился с Торвальдсенем и Херцем, которые надолго остались его друзьями. И это было только началом путешествия. Впереди его ждал Неаполь с огнедышащим Везувием и чудесный Капри с Голубым гротом.

Письма из Дании он получил еще в Риме. Этот день был самым мрачным за все его пребывание в Италии – 28 декабря 1833 года. «Сегодня я узнал о смерти моей матери», – записал Андерсен в дневнике, а рядом нарисовал вид из окна гостиницы: римляне кого-то хоронили. Второе письмо было от Коллина. Друг сообщал о провале пьесы, на которую Андерсен возлагал большие надежды. В качестве приписки Коллин заметил, что пора бы немного охладить пыл. Не стоит так много писать. А идея Андерсена издать путевые заметки по Италии, на его взгляд, была просто абсурдна. «Да кто же, скажите мне, купит ваш многотомный труд, трактующий о путешествии, которое проделали до вас тысячи людей? Остановитесь, ради бога, ради вашей писательской чести!..» Андерсен был в отчаянии. В очередной раз его одолевали мысли о самоубийстве, но писатель ограничился холодным ответом другу и покупкой чернил для продолжения работы над книгой.



Мой сосед-кулинар в Риме. Рисунок из письма Ганса Христиана Андерсена

Он написал свой роман. «Импровизатор», а именно таковым было название его творения, был принят более чем восторженно. В 1835 году он увидел свет, а спустя два года Христиан был приглашен на завтрак к датскому премьер-министру. Тот отрекомендовался поклонником «Импровизатора» и предложил писателю солидную субсидию. Его узнали и признали

все. Зарубежные газеты писали восторженные отклики на роман, а датские издания упорно продолжали поливать стиль и вкус Андерсена как писателя. Не обходили стороной и его безграмотность. Неудивительно, что начиная с 1838 года Христиан предпочитает дорогу уютному креслу у камина в родной Дании. Он путешествовал по Англии, Германии, Швеции, Франции. Восторгался красотами Греции и снимал шляпу, стоя у подножия Акрополя. Позднее, в сказке «Дюймовочка», Греция станет страной, где живут крошечные эльфы, и именно сюда ласточка принесет девочку.

Христиану было 42 года. Он уже успел прославиться как великий сказочник, но ему не хватало одного – серьезного отношения к собственной персоне. Его единственными искренними поклонниками, верившими всему, что говорил этот чудак, были дети. А для него беседы с детьми и сочинение сказок стало счастливой возможностью убежать от слишком взрослого и скучного света.

Андерсен и дети

Любил ли Андерсен детей? На этот вопрос у современников Ганса Христиана было два совершенно противоположных мнения. Одни уверяли, что любил, и даже очень. Другие, напротив, считали, что он боялся и недолюбливал маленьких девочек и мальчиков. Согласитесь, довольно необычный спор, если учитывать, что он касается сказочника. Но необычным был и сам Андерсен, и его сказки.



Рисунок в честь визита Ганса Христиана Андерсена в Лондон. 1857 год

В его волшебных историях справедливость нередко бывала жестокой. Взять, к примеру, сказку «Девочка, наступившая на хлеб», где юная барышня расплатилась за свой поступок настоящими муками ада. А в сказке «Красные туфельки» маленькая модница так любовалась своими новыми башмачками, что забыла обо всем на свете. Но пришел справедливый топорик и отрубил ей ноги, разрешив тем самым все проблемы. Подобных сказок в творчестве писателя

не так уж и много, всего четыре или пять, и причиной их происхождения, как правило, были зубная боль и глубокая депрессия. Но злые языки критиков уже кричали о нелюбви к детям и неумении научить хорошему привычными методами. Впрочем, с критиками у сказочника никогда не складывались отношения. С самого начала они избрали его любимой мишенью и мучили всю жизнь. Именно им Андерсен посвятил сказку «Улитка и розовый куст», а в придачу сочинил язвительный стишок:

В саду улитка черная сидела,
На розу злясь: «Как хвалят все ее!
Как хороша! А мне какое дело?
Я вот взяла и плюнула в нее!»

Андерсен писал легко. Даже большие истории рождались всего за одну ночь, самое долгое два дня. У него не было проблем с поиском тем. Однажды скульптор Торвальдсен в шутку сказал: «Ну напишите нам новую, забавную историю. Вы ведь можете написать даже о штопальной игле!» И Андерсен написал историю жизни штопальной иглы. «Сказки сами приходят ко мне, – говорил Ганс Христиан. – Их нашептывают деревья, они врываются с ветром. Они всюду, надо только заметить их...»

Но есть у сказок Андерсена одна закономерность – они все грустные. И далеко не все имеют счастливый конец. Знаменитая сказка «Тень», как известно, закончилась смертью человека и победой тени. Столь же невеселый финал и в истории про ночной колпак, в которой хозяин колпака умер в холодном безлюдном доме. А стойкий оловянный солдатик превратился в комочек олова в пламени камина. Из 156 сказок, написанных Андерсеном, 56 заканчиваются смертью героя. Среди них и «Русалочка». Об этой истории Андерсен говорил, что «она – единственная из моих работ, которая трогала меня самого, в то время как я писал ее». Если бы только великий сказочник мог знать, что спустя годы в Копенгагенской бухте появится скульптура Русалочки, которая станет символом столицы Дании.

Идея украсить город новой скульптурой принадлежала меценату Карлу Якобсену и ваятелю Эдварду Эриксену. В ту пору, а дело было в 1912 году, на сцене Королевского театра шел балет «Русалочка», в котором блистала Эллен Прайс. Именно она и должна была стать натурщицей для Эриксена. Но балерина отказалась позировать голой, предоставив в распоряжение ваятеля лишь свою голову. Этот каприз не остановил скульптора, он воспользовался головой Прайс, а в качестве обнаженной природы взял собственную жену. Русалочка была готова спустя год – в 1913-м. Ее хотели установить в центре города, но Якобсен, спонсировавший проект, настоял на гавани. «Русалочку должна всегда омывать вода, как в сказке», – заявил он в качестве аргумента.

Так и вышло. Но символ Копенгагена почти с самого начала преследовали несчастья. Ее сильно повредили во время Второй мировой войны. В 1961 году волосы морской девы выкрасили в красный цвет, а на тело надели абажур. Спустя два года ее снова разукрасили в красный цвет. Городские службы еще не успели вернуть Русалочке прежний облик, как уже в 1964-м ей отрезали голову. В 1976 году снова выкрасили. В 1984-м оторвали руку. В 1990-м отрезали макушку и, наконец, в 1998-м снова отрезали голову. В Копенгагене шутят: у нашей Русалочки клонированная голова. Теперь морская дева приобрела новое лицо. Насколько оно схоже с Эллен Прайс, уже никто не знает, но то, что судьба Русалочки за пределами книги продолжает развиваться в духе Андерсена, никто не сомневается. Ведь грусть и страдания – его излюбленные темы.

Последние годы жизни

Нюхавн – улица в венецианском стиле. Собственно, это и не улица вовсе, а канал, по обеим сторонам которого выстроились дома. Жить на Нюхавне престижно, а иметь здесь собственный кабачок мечтают многие предприимчивые копенгагенцы. Впрочем, такой улица была не всегда. В XIX веке одна ее сторона считалась элитной, а другая, та, что никогда не видит солнца, – обычной. Именно на этой невзрачной стороне долгое время снимал комнату Ганс Христиан Андерсен. Дом номер 67 сегодня украшает табличка с именем сказочника. Зато на другой, солнечной стороне, там, где разбогатевший на волшебных историях писатель провел свои последние годы, нет ни таблички, ни надписи.

66-летний писатель переехал в эту квартиру 23 октября 1871 года, всего за четыре года до смерти. Он был знаменит, и слава делала его в глазах поклонников вполне симпатичным человеком. Как высказалась одна юная барышня, большая поклонница творчества Андерсена, «он не был красивым мужчиной, но его обворожительная улыбка заставляла думать иначе». Но что могли значить восторженные взгляды молоденьких девиц, если за свою долгую жизнь Андерсен трижды влюблялся и трижды был несчастлив в любви. Он так никогда и не женился, хотя был близок к этому. Его избранницей была знаменитая шведская певица Дженни Линд, но роман закончился ничем. Влюбчивый писатель нашел себе другой объект для обожания и с головой окунулся в новую страсть. К тому же его меланхоличный характер мало кого вдохновлял на совместное проживание. Андерсен побил все рекорды по количеству попыток покончить с собой. Любил ли он жизнь? Пожалуй, да. Но совсем не так, как любят ее другие. Для него жизнь и смерть были неразрывно связаны между собой. И его сказки «Ледяная дева» и «Снежная королева» – это оды смерти. В Дании существует поверие: когда мороз рисует на окне узор, то среди затейливых линий можно увидеть прекрасное лицо – это лицо ледяной девы. Она приходит за теми, чей последний час пробил. Такая дева приходила за его отцом, и именно ее он ждал в доме номер 18 на улице Нюхавн.

Он почти не выходил из дому. Врачи поставили диагноз цирроз печени и обнаружили еще ряд заболеваний. Душевное состояние Ганса Христиана было удручающим. Он хандрил и пребывал в глубокой депрессии. «Я чувствую собственную старость, и даже мои соседи – молодые студенты более не могут зажечь меня своей юностью», – жаловался сказочник. Он постоянно вел дневник, записывая туда все приступы боли и малейшие изменения в самочувствии. Свои волшебные истории Ганс Христиан все чаще предпочитал рассказывать, а не записывать. Но тем не менее к 1872 году на свет появилось две последние сказки – «Рассказ старого Йохана» и «Тетушка Зубная боль». Обе истории Андерсен посвятил самому себе. В ту пору он особое внимание уделял зубам и считал, что их состояние влияет на его творчество. Возможно, так оно и было. В январе 1873 года Ганс Христиан потерял последний зуб, и в то же время сказки покинули дом номер 18. «Волшебные истории больше не приходят ко мне. Я остался совершенно один», – записал Андерсен в дневнике.



Ганс Христиан Андерсен в доме на улице Ньюхавн. 1874 год

Но одиночество писателя было скорее внутренним, чем внешним. Его постоянно окружали друзья: Эдвард Коллин с женой и семейство Мельхеоров, чей особняк на окраине Копенгагена Андерсен считал своим родным домом. Доротея Мельхеор выполняла функции сиделки. Она готовила еду, так как горничной Христиан не доверял, и ежедневно приносила ему букет белых роз. Прежде чем поставить их в вазу, Доротея подносила букет к лицу больного писателя, и тот нежно целовал каждый цветок. Андерсен знал, что умирает, но его мучили страхи быть похороненным заживо. «Прежде чем положить меня в гроб, убедитесь, что я действительно умер», – говорил он мадам Мельхеор.

Видимо, опасения Андерсена были не напрасны. Копенгаген уже готовился к прощанию с великим сказочником. Дети и взрослые собрали средства на памятник писателю. Увековечить Ганса Христиана в бронзе доверили скульптору Огюсту Сабё. Он-то и пожаловал в дом номер 18 с эскизом будущего шедевра. Взглянув на листок, Андерсен пришел в негодование: «Вы хотите, чтобы я читал мои сказки в окружении детей, которые виснут на моих плечах и коленях? Да я и слова не скажу в такой атмосфере!» Сабё был в шоке, но учел пожелание сказочника и детей убрал. Немногим из писателей довелось самим редактировать собственный памятник. И скульптура в королевском парке Розенберг с этой точки зрения настоящий шедевр. Все выполнено по вкусу Андерсена – любимая книга и никаких детей.

После ухода скульптора Сабё Ганс Христиан недовольно заметил: «Они готовят для меня надгробие». А четыре месяца спустя, 4 августа 1875 года, умер. Его похоронили на копенгагенском кладбище Ассистенс. В своем завещании Андерсен просил, когда придет срок, похоронить рядом с ним его друзей Эдварда и Генриетту Коллин, чтобы не было после смерти так же одиноко, как при жизни. Пожелание сказочника было выполнено спустя десять лет, когда супруги скончались. Однако дети Коллинов решили переправить тела родителей в семейный склеп. И Андерсен снова остался в одиночестве, теперь уже навсегда.

Елена Шмелева

Сказки

1830-е

Затонувший монастырь

Неподалеку от Нойенкирха, среди дремучих лесов притаилась одинокая полянка с озерцом; редко кто сюда заглядывает, да и знают-то о ней немногие. В черных елях, окружающих лужайку и озеро, есть какая-то унылость, нечто навевающее невольный трепет. Они словно окутывают таинственным покровом эти места; здесь не щебечут птицы, сюда не заглядывают солнечные лучи. Само озеро – глубины бездонной, и оттого-то еще больше сторонятся люди этих мест.

В стародавние времена стоял здесь женский монастырь с высокими башнями и с каменными статуями вдоль красных кирпичных стен.

Однажды ненастной зимней ночью набрел на монастырь нищий, больной старик; обессиленный, постучал он в ворота и стал проситься на ночлег. Но сестра привратница была женщина ленивая и жестокосердая, не хотелось ей в стужу спускаться вниз, отмыкать все замки и запоры. И она сердито крикнула старику, чтобы он шел своей дорогой и искал ночлега в другом месте. Но странник так устал и продрог, что дальше не мог идти; он снова стал просить, жалобно плакал, но все было напрасно. Ни настоятельницу, ни остальных монахинь не тронуло его горе. Лишь одна-единственная из обитательниц монастыря, которая еще не дала монашеского обета, сжалась, видя его слезы, и заступилась за старика. Но монашки только посмеялись над ней, поглумились над ее добротой, да так и оставили беднягу за воротами.

Тут непогода еще пуще разыгралась, а старик прикоснулся своим посохом к стене, и в мгновение ока неприступный монастырь провалился в бездну. Огонь и дым изверглись из страшного жерла, которое тут же заполнилось водой. К утру буря стихла, и на том самом месте, где вчера еще солнце играло на золотых крестах высоких колоколен, теперь раскинулось озеро.

Добросердечная послушница, которая пожалела старика, горячо, всей душой любила одного из самых знатных рыцарей тех краев и потому монастырь казался ей темницей. Не раз ночью порою пробирался рыцарь тайком через лес к уединенному монастырю. Когда все вокруг погружалось в сон, они переговаривались через решетку в окне ее кельи, и часто, бывало, их свидания кончались лишь на заре.

Пришел он и в ту ненастную ночь. Но какой болью и тревогой наполнилось сердце рыцаря, когда не увидел он больше на прежнем месте монастыря, а лишь услышал, как ревет и клокочет вода, скрытая густыми клубами дыма. Рыцарь стал ломать руки, рыдать и так громко звать любимую, что голос его сквозь бурю разносился далеко вокруг.

– Хоть раз, один лишь раз, – вздохнул он, – приди в мои объятия!

И тут из бездны, над которой пенилось бурное озеро, раздался голос:

– Будь завтра ночью, в одиннадцатом часу, на этом самом месте! На волнах ты увидишь алюю, как кровь, шелковую нить, потяни за нее!

Голос смолк. В тоске и горе отправился рыцарь домой, не ведая, что уготовит ему рок. Но в назначенный час он снова пришел на берег озера и сделал все, что повелел ему голос.

Трепетной рукой схватил он алюю, как кровь, нить, потянул за нее – и вот перед ним предстала его возлюбленная.

– Неисповедимый рок, – сказала она, – вверг меня, ни в чем не повинную, в бездну вместе с виноватыми, но мне дозволено всякую ночь от одиннадцати до двенадцати беседовать с

тобой; преступать же этот час мне нельзя; если я хоть раз нарушу условие, ты никогда меня больше не увидишь. И, кроме тебя, никто не должен меня видеть, не то незримая рука перережет нить моей жизни.

Долго, долго продолжались ночные свидания на берегу озера, и всякий раз рыцарь тянул за алию, как кровь, нить, и из синих вод являлась его возлюбленная. Как счастливы были они оба этими тайными встречами и ничуть не опасались, что их застигнут врасплох в этом безлюдном, внушающем ужас месте! Но зависть и злоба выследили рыцаря, и однажды чужой человек подглядел, как влюбленные рука об руку гуляют по берегу озера. Когда на следующую ночь рыцарь приблизился к милому озеру, воды его в ясном свете месяца атели, будто кровь. Трепетной рукой схватился он за нить, но она побелела и была перерезана.

Стеная, метался рыцарь по берегу, ломал руки, звал свою любимую. Но все было тихо. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и волны над ним сомкнулись.

1831

Огниво

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая безобразная ведьма, нижняя губа висела у нее до самой груди.

– Здорово, служивый! – сказала она. – Какая у тебя славная сабля и большой ранец! Вот brave солдат! Сейчас ты получишь денег сколько твоей душе угодно.

– Спасибо, старая ведьма! – сказал солдат.

– Видишь вон то старое дерево? – сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. – Оно пустое внутри. Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустишь в него, в самый низ! А я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу назад, когда ты мне крикнешь.

– Зачем мне лезть туда в дерево? – спросил солдат.



– За деньгами! – сказала ведьма. – Знай, что когда ты доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; там совсем светло, потому что горит добрая сотня ламп. Потом ты увидишь три двери; можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее словно чайные чашки! Да ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него вволю. Тут одни медные деньги; захочешь серебра – ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами что твои мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А хочешь, можешь достать и золота сколько угодно; пойдй только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на сундуке, глаза – каждый с Круглую башню. Вот это собака так собака! Но ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

– Оно бы недурно! – сказал солдат. – Но что ты с меня возьмешь за это, старая ведьма? Ведь уж что-нибудь да тебе от меня нужно?

– Я не возьму с тебя ни полушки! – сказала ведьма. – Только принеси мне старое огниво, которое позабыла там в последний раз моя бабушка.

– Ну, обвязывай меня веревкой! – приказал солдат.

– Готово! – сказала ведьма. – А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. Ух! Там сидел пес с глазами, точно чайные чашки, и тарашился на солдата.

– Малый недурен! – сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.

– Нечего тебе тарашиться на меня, глаза заболят! – сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке такую кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец одним серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись точно колеса.

– Мое почтение! – сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Теперь-то он был с деньгами! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь и закрычал наверх:

– Тащи меня, старая ведьма.

– Ты взял огниво? – спросила ведьма.

– Ах, правда, чуть не забыл! – сказал солдат, пошел и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге с набитыми золотом карманами, сапогами, ранцем и фуражкой.

– Зачем тебе это огниво? – спросил солдат.

– Не твое дело! – ответила ведьма. – Ты ведь получил деньги! Отдай же мне огниво!

– Как бы не так! – сказал солдат. – Сейчас говори, зачем тебе оно, не то я вытащу саблю да срублю тебе голову.

– Не скажу! – уперлась ведьма.

Солдат взял и срубил ей голову. Ведьма так и повалилась, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город.

Город был чудесный; солдат остановился в самой лучшей гостинице и потребовал себе самые лучшие комнаты и все свои любимые блюда – теперь ведь он был богачом!

Слуга, который должен был чистить его сапоги, удивился было, что у такого богатого господина сапоги такие плохие, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат сделался настоящим баринном, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

– Как бы ее увидеть? – спросил солдат.

– Этого никак нельзя! – сказали ему. – Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а королю это не понравилось.

«Вот бы на нее поглядеть!» – подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим баринном, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и остались у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже зашивать на них дыры; никто из друзей не навещал его, – уж очень высоко было подниматься к нему!

Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только, высекая огонь, ударил по кремню, дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

– Что угодно, господин? – спросила собака.

– Вот так история! – сказал солдат. – Огниво-то, выходит, презабавное: я могу получить все, что захочу! Эй, ты, добудь мне деньжонок! – сказал он собаке.

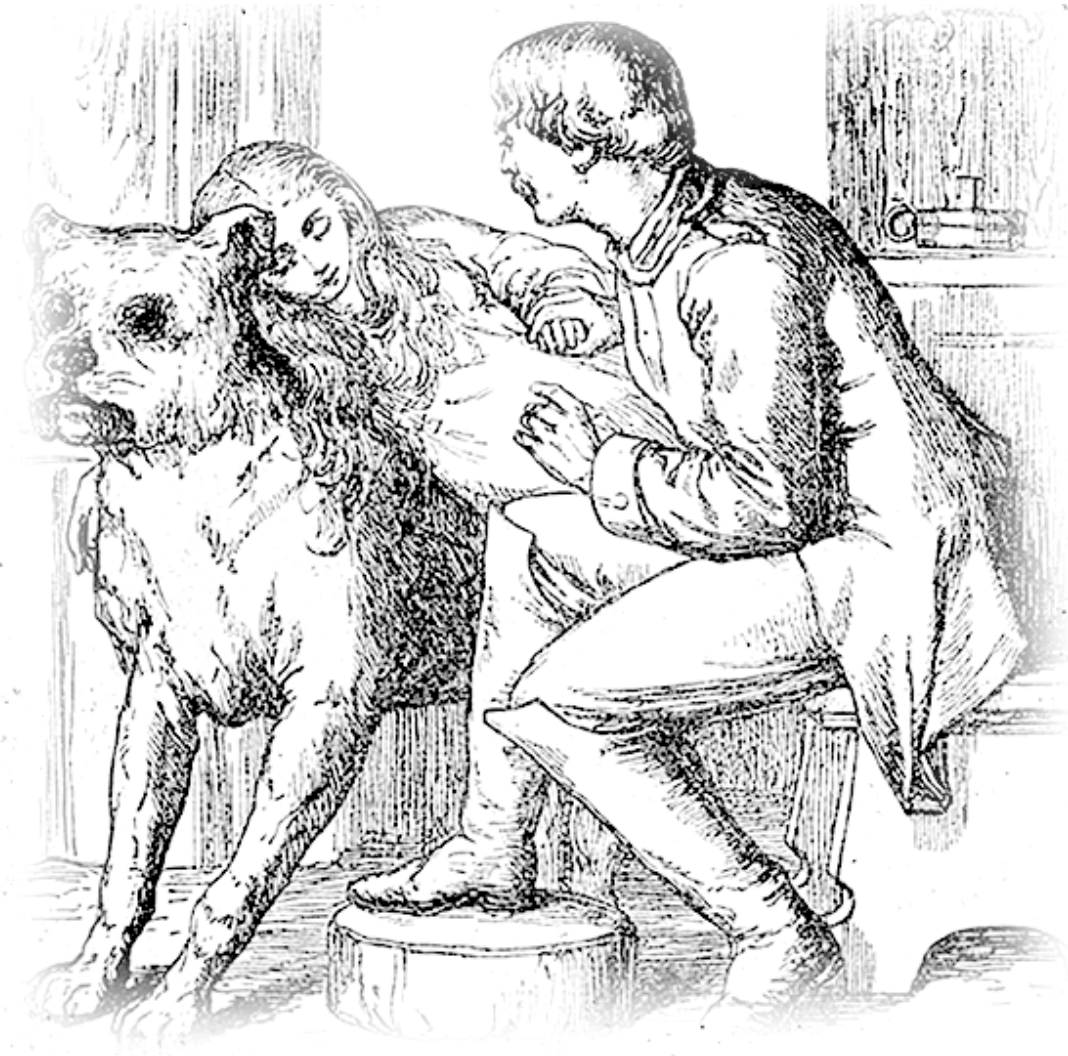
И раз – ее и след простыл, два – она опять тут как тут, а в зубах у нее большой мешок, набитый медяками! Тут солдат и узнал, что за чудное у него огниво. Стоило ударить по кремню раз – являлась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами, два раза – являлась та, у которой было серебро, а три – являлась собака с золотом.

И вот солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же опять узнали его и ужасно полюбили.

Раз ему и приди в голову: «Почему бы это нельзя видеть принцессы? Все говорят, что она такая красавица! А что толку, если она весь век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся взглянуть на нее? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз – в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

– Теперь, правда, уже ночь, – сказал солдат. – Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее – он ведь был бравый воин, настоящий кавалер!



Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

– Вот так история! – сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину – она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон, или что другое.

А солдату опять ужасно захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать настоящих ворот – повсюду стояли кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездил принцесса ночью.

– Вот куда! – сказал король, увидев первые ворота с крестом.

– Нет, вот куда, муженек! – возразила королева, заметив крест на других воротах.

– Да и здесь крест, и здесь! – зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки большой кусок шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездил принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что от души желал бы стать принцем и жениться на ней.

Собака совсем и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездил принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело слышать это, а огниво свое он позабыл дома в гостинице.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Тут же бежал какой-то мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стену тюрьмы, чуть не в окошко, где стоял солдат.

– Эй, ты, куда торопишься? – сказал мальчику солдат. – Без меня ведь дело не обойдется! А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монетки. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом была устроена виселица, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на чудесном троне прямо против судей и всего совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему хотели накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде нежели казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку, это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три – и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами как чайные чашки, собака с глазами как мельничные колеса и собака с глазами как Круглая башня.

– Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! – приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажень, и все расшиблись вдребезги!

– Не хочу! – закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими.

Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

– Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

1835

Маленький Клаус и Большой Клаус

Водной деревне жили два человека; обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большой Клаус, а того, у которого одна, Маленький Клаус. Послушаем-ка теперь, что с ними было; ведь это целая история!

Всю неделю как есть должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. Зато Большой Клаус давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко щелкал кнутом Маленький Клаус по всему пятернику, – сегодня ведь все лошадки были как будто его собственные. Солнце так и сияло, колокола звонили к обеду, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал:

– Эх вы, мои лошадушки!

– Не смей так говорить! – сказал Большой Клаус. – У тебя ведь всего одна лошадь!



Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Послушай, я прошу тебя перестать! – сказал ему, наконец, Большой Клаус. – Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу, вот ей и конец будет!

– Право, я не буду больше! – сказал Маленький Клаус, да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! – сказал Большой Клаус.

Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса по лбу, что убил ее наповал.

– Эх, нет теперь у меня ни единой лошадки! – сказал Маленький Клаус и принялся плакать.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще как на грех разыгралась непогода, и Маленький Клаус заблудился, а когда опять выбрался на дорогу, совсем уже стемнело. До города было еще далеко, да и домой назад неблизко; до ночи ни за что не добраться ни туда ни сюда.

На дороге стоял как раз большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь щели светился огонь.

«Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», – подумал Маленький Клаус и постучался. Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой; мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

– Видно, придется переночевать на дворе! – сказал Маленький Клаус, – ведь хозяйка заперла перед ним дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом – сарайчик с плоской соломенной крышей.

– Вон там я и улягусь! – сказал Маленький Клаус, увидев эту крышу. – Чудесная постель! Авось аист не прилетит и не ущипнет меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома было гнездо и стоял живой аист.

Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться к боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни не доходили до верха окон, и ему видна была вся горница.

В горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь – больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу, – он был большой до нее охотник.

«Вот бы мне присоседиться!» – подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот так пир!

Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому верхом, – это вернулся домой хозяин муж. Он был очень добрый человек, но за ним водилась одна слабость: он видеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря – и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался – он ведь знал, что бедняга-муж видеть не может пономарей, – а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

– Ах! – вздохнул Маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино.

– Кто там? – спросил крестьянин и вскинул глаза на Маленького Клауса. – Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, как он заблудился и попросился ночевать.

– Ладно, – сказал крестьянин. – Только сперва нам надо с тобой подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло, и вот он наступил на свой мешок ногой; сухая шкура громко закрипела.

– Тсс! – сказал Маленький Клаус мешку, а сам опять наступил на него, и шкура закрипела еще громче.

– Что там у тебя? – спросил хозяин.

– А это колдун мой! – сказал Маленький Клаус. – Он говорит, что не стоит есть кашу, – он наколдовал нам полную печку вкусных вещей – там и жаркое, и рыба, и пирог!

– Вот так штука! – сказал крестьянин, мигом открыл печку и увидал там чудесные кушанья. Их спрятала туда его жена, а он подумал, что это все колдун наколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись есть и жаркое, и рыбу, и пирог. Вдруг Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура закрипела.

– А что он теперь сказал? – спросил крестьянин.

– Да вот, говорит, что наколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке, – ответил Маленький Клаус.

Жене пришлось вытащить и вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Маленького Клауса, он не прочь был заполучить!

– А может он вызвать черта? – спросил крестьянин. – Вот на кого бы я посмотрел; ведь мне сейчас весело!

– Да, – сказал Маленький Клаус, – мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? – спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура закричала. – Слышишь? Он отвечает «да». Только черт такой безобразный, что не стоит и смотреть на него!

– Но я его ни капельки не боюсь. А каков он на вид?

– Да он точь-в-точь пономарь!

– Тьфу! – сплюнул крестьянин. – Вот безобразие! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, я ведь буду знать, что это черт, и мне не будет так противно! Теперь, кстати, я набрался храбрости! Только пусть он не подходит слишком близко!

– А вот я сейчас скажу колдуну! – сказал Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

– Ну что?

– Он велит вам пойти и открыть вон тот сундук в углу: там притаился черт. Но надо придерживать крышку, а то он выскочит.

– Так помогите мне придержать! – сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятавала настоящего пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

– Тьфу! – закричал он и отскочил прочь. – Видел, видел! Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

Такую неприятность надо было запить, и они пили до поздней ночи.

– А колдуна этого ты мне продай! – сказал крестьянин. – Проси, сколько хочешь, хоть целый четверик денег!

– Нет, не могу! – сказал Маленький Клаус. – Подумай, сколько мне от него пользы!

– Ах, мне страсть как хочется! – сказал крестьянин и стал упрашивать Маленького Клауса.

– Ну ладно, – сказал, наконец, Маленький Клаус, – пусть будет по-твоему! Ты ласково обошелся со мной, пустил меня ночевать, так бери ж себе моего колдуна за четверик денег, только насыпай полный!

– Хорошо! – сказал крестьянин. – Но ты должен взять и сундук, я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почему знать, может быть, он все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полный четверик денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

– Прощай! – сказал Маленький Клаус и покати тачку с деньгами и с сундуком, где все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекал большой глубокий ручей, такой быстрый, что едва можно было справиться с течением. Через ручей был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посередине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

– К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я совсем измучусь с ним! Брошу-ка его в реку: приплывет он ко мне домой сам – ладно, а не приплывет – и не надо!



Потом он взялся за сундук одною рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

– Постой! – закричал из сундука пономарь. – Выпусти сначала меня!

– Ай! – вскрикнул Маленький Клаус, притворяясь, что испугался. – Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть тонет!

– Нет, нет! Это не черт, это я! – кричал пономарь. – Выпусти меня, я тебе дам целый четверик денег!

– Вот это другое дело! – сказал Маленький Клаус и открыл сундук. Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к нему домой, и Маленький Клаус получил еще целый четверик денег. Теперь тачка была полна деньгами.

– А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! – сказал себе Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол целую кучу денег. – Вот Большой Клаус-то рассердится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади. Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить меру, которую мерят зерно.

«На что ему эта мера?» – подумал Большой Клаус и слегка смазал дно меры дегтем, – авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив меру назад, Большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новенькие серебряные монетки.

– Вот так штука! – сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу. – Откуда у тебя столько денег?

– Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

– С барышом продал! – сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

– Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! – кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

– Четверик денег за штуку! – отвечал Большой Клаус.

– Да ты в уме? – возмутились покупатели. – У нас деньги не водятся четвериками!

– Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! – кричал он опять и всем, кто спрашивал, почему у него шкуры, отвечал: – Четверик денег за штуку!

– Да он нас дурачить вздумал! – закричали сапожники и кожевники, и вот одни схватили свои ремни, другие свои кожаные передники и принялись хлестать ими Большого Клауса.

– «Шкуры! Шкуры!» – передразнивали они его. – Вот мы покажем тебе шкуры! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Сроду еще его так не колотили!

– Ну, – сказал он, добравшись до дому, – заплатится же мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса умерла старая бабушка; она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель – авось отогреется и оживет, – а сам уселся в углу на стуле: ему не впервой было так ночевать.

Ночью дверь отворилась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел к ней и ударил мертвую бабушку по голове, думая, что это Маленький Клаус.

– Вот тебе! Не будешь больше меня дурачить! – сказал Большой Клаус и пошел домой.

– Вот злодей! – сказал Маленький Клаус. – Это он меня хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку так, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатыл с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусь.

У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь начинен перцем и табаком.

– Здравствуй! – сказал он Маленькому Клаусу. – Чего это ты нынче спозаранку расфрантился?

– Да вот, – отвечал Маленький Клаус, – надо с бабушкой в город съездить; она осталась там, в тележке, – ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду. Только говорите с ней погромче, она глуховата!

– Ладно! – согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе.

– Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! – сказал хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

– Слышите? – закричал хозяин во все горло. – Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь, потому что Маленький Клаус только посадил ее на скамейку, но не привязывал.

– Что ты наделал? – завопил Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. – Ты убил мою бабушку! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

– Вот беда-то! – заохал хозяин, всплеснув руками. – И все это из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг ты мой, я тебе целый четверик денег дам и бабушку твою похороню, как свою собственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Маленький Клаус получил целый четверик денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика попросить меру.

– Как так? – удивился Большой Клаус. – Разве я не убил его? Надо посмотреть самому!

И он сам понес меру Маленькому Клаусу.

– Откуда это у тебя такая куча денег? – спросил он и просто глаза вытаращил от удивления.

– Ты убил-то не меня, а мою бабушку, – сказал Маленький Клаус, – и я ее продал за четверик денег!

– С барышом продал! – сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвого человека.

– Кто это и где вы его взяли? – спросил аптекарь.

– Это моя бабушка! – ответил Большой Клаус. – Я убил ее, чтобы продать за четверик денег!

– Господи помилуй! – воскликнул аптекарь. – Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы!

И он растолковал Большому Клаусу, что он такое наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, стегнул по лошадям и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не стали его ловить.

– Поплатишься же ты мне за это, поплатишься, Маленький Клаус! – сказал Большой Клаус, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

– Ты опять одурачил меня? Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше тебе не дурачить меня!

И вот он схватил Маленького Клауса и засунул в мешок, завязал его, вскинул на спину и закричал:

– Пойду да утоплю тебя!

До реки было недалеко, и Большому Клаусу тяжеленько стало тащить Маленького. Дорога шла мимо церкви, оттуда слышались звуки органа и чудное пение. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо бы зайти в церковь, послушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог ведь вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус зашел в церковь.

– Ох, ох! – вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось.

В это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он погонял его стадо. Коровы и быки набежали на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

– О-ох! – вздохнул Маленький Клаус. – Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в Царство Небесное!

– А я, бедняга, такой старик и все не могу попасть туда! – сказал пастух.

– Так развяжи мешок, – закричал Маленький Клаус. – Полезай на мое место и живо попадешь туда!

– С удовольствием! – сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил оттуда.

– Теперь тебе смотреть за стадом! – сказал старик и влез в мешок. Маленький Клаус завязал его и погнал себе стадо дальше.

Немного погодя вышел из церкви Большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче, – Маленький Клаус весил ведь чуть не вдвое больше против старика пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я побывал в церкви!» – подумал Большой Клаус, дошел до широкой и глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и, думая, что там сидит Маленький Клаус, закричал:

– Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

После этого он отправился домой, но у самого перекрестка встретил Маленького Клауса с целым стадом!

– Вот тебе раз! – сказал Большой Клаус. – Разве я не утопил тебя?

– Конечно! – сказал Маленький Клаус. – Полчаса тому назад ты бросил меня в реку!

– Так откуда же ты взял такое чудесное стадо? – спросил Большой Клаус.

– Это водяное стадо! – ответил Маленький Клаус. – Вот послушай, сейчас я тебе расскажу, как все было. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистал у меня в ушах, когда ты бросил меня с моста в холодную воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся – там внизу растет такая нежная, мягкая травка, на нее я и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах, протянула мне руку и сказала: «А, это ты, Маленький Клаус? Ну вот, прежде всего бери это стадо, а в миле отсюда на дороге пасется другое, побольше, – ступай, я тебе его дарю».

Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птицы! Что за красивые люди попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

– Зачем же ты так скоро вернулся? – спросил Большой Клаус. – Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!

– Я ведь это неспроста сделал! – сказал Маленький Клаус. – Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку – другой дороги они ведь там не знают, – а река так петляет, что мне пришлось бы задать здоровый крик. Вот я и решил выйти на сушу да пойти напрямик к тому месту, где ждет мое стадо, так я выгадаю почти полмили пути!

– Экий счастливец! – сказал Большой Клаус. – А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

– Конечно! – сказал Маленький Клаус. – Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коли хочешь, дойди сам да влезь у мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду!

– Спасибо! – сказал Большой Клаус. – Но если я не получу там стада, я тебя изобью, так и знай!

– Ну-ну, не сердись! – сказал Маленький Клаус, и они пошли к реке. Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней: коровам очень хотелось пить.

– Погляди, как они торопятся! – сказал Маленький Клаус. – Ишь, как соскучились по воде, домой, на дно, знать, захотелось!

– Да, да! Ты вот помоги-ка мне лучше, а не то я тебя изобью! – сказал Большой Клаус и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. – Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

– Пойдешь! – сказал Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал мешок и толкнул его в воду.

Бултых! И Большой Клаус пошел прямо ко дну.

– Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! – сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.

1835

Принцесса на горошине

Жил был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было сколько угодно, но были ли они настоящие, он никак не мог дознаться. Так и вернулся он домой ни с чем и очень горевал – уж больно хотелось ему найти настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра, ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова, пошла в спальню, сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков.



На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почивала.

– Ах, очень дурно! – сказала принцесса. – Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

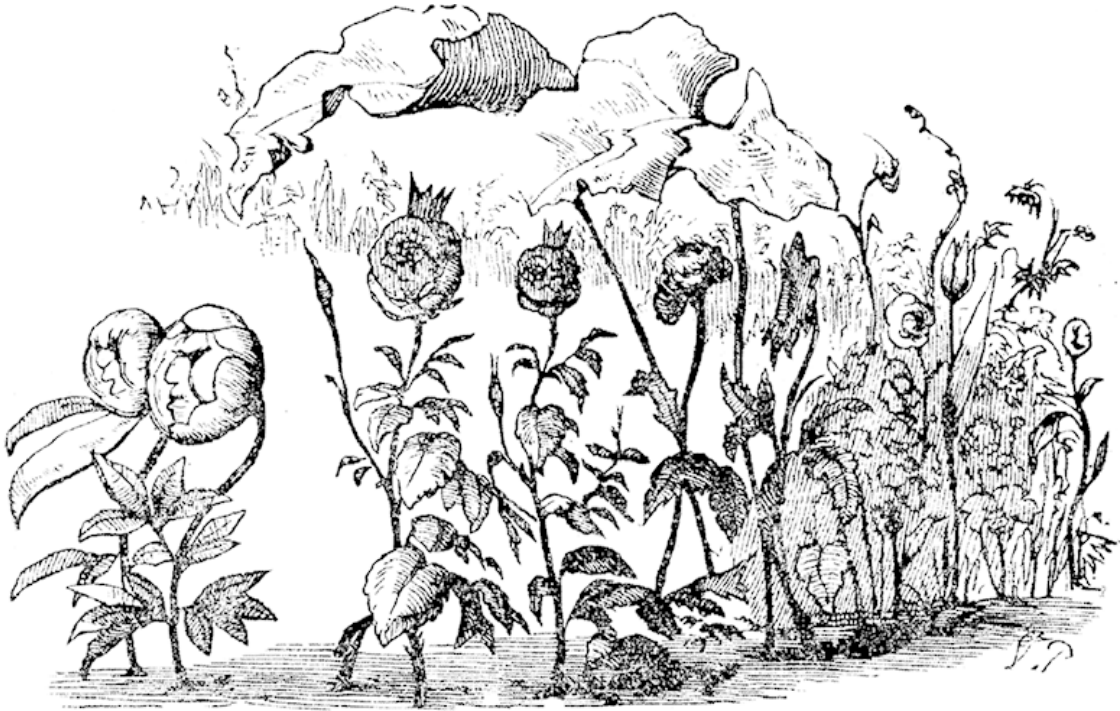
Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков – такую деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл.

Да, вот какая была история!

1835

Цветы маленькой Иды



Бедные мои цветочки совсем завяли! – сказала маленькая Ида. – Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? – спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента – он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой весельчак был этот студент!

– Что же с ними? – спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

– Знаешь что? – сказал студент. – Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

– Да ведь цветы не танцуют! – сказала маленькая Ида.

– Танцуют! – отвечал студент. – По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают – просто чудо!

– А детям нельзя прийти к ним на бал?

– Отчего же, – сказал студент, – ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

– А где танцуют самые красивые цветы? – спросила Ида.

– Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

– Я еще вчера была там с мамой, – сказала маленькая Ида, – но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

– Они все во дворце! – сказал студент. – Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон – это король с королевой. Красные петушии гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются – это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Голу-

бые фиалки изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями – гиацинтами и крокусами, а тюльпаны и большие желтые лилии – это пожилые дамы, они смотрят, чтобы танцевали прилично и вообще вели себя чинно.

– А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? – спросила маленькая Ида.

– Да ведь никто же не знает об этом! – сказал студент. – Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только слышат звяканье ключей, сейчас присмирют, спрячутся за длинные занавески, что висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазком. «Тут что-то пахнет цветами!» – бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

– Вот забавно! – сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала. – И я тоже не могу их увидеть?

– Можешь, – сказал студент. – Стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване – воображала себя придворной дамой.

– А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

– Не бойся, – сказал студент, – они могут летать, если захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только соскочили со своих стебельков, забили в воздухе лепесточками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смиренно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе! то-то удивится потом профессор ботаники – который живет тут рядом! Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и они все упорхнут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

– Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

– Конечно, нет, – сказал студент, – зато они умеют объясняться пантомимой! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит – точно они разговаривают.

– А профессор понимает их пантомиму? – спросила маленькая Ида.

– Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, и я очень люблю тебя!» Профессору это не понравилось, и он сейчас ударил крапиву по листочкам, – листочки у нее все равно что пальцы, – да обжегся! С тех пор и не смеет трогать крапиву.

– Вот забавно! – сказала Ида и засмеялась.

– Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? – сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.



Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые и забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках – его повесили за то, что он воровал сердца, – или старой ведьмы на помеле, с мушкой на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

– Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике; бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, – может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова, – она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы в постельку, укрыла их хорошенько одеяльцем и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнышко не светило цветочкам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, маленькая Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках стояли чудесные мамины цветы – тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

– Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли себе как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» – подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

«Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в кукольной постельке?» – сказала маленькая Ида про себя и слегка приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, – ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, да так тихо и нежно, как она никогда еще не слыхала.

– Это, верно, цветы танцуют! – сказала Ида. – Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

– Хоть бы цветы вошли сюда! – сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда маленькая Ида не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка – там стояли одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали друг с другом: они то становились в круг, то кружились парами, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки. На фортепьяно играла большая желтая лилия – это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, что длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо встали и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней челюстью встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных – спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту где-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону – это была масленичная верба: она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Верба была довольно мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке ее сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя деревянными ходульками, – она танцевала мазурку, а другие цветы не умели плясать мазурку, потому что были слишком легки и не могли так топать.

Но вот восковая куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь сам советник, в его черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно – вытягивался ли он во всю длину, или оставался маленькою восковою кукол-

кой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

– У вас бал? – проговорила она. – Что же это вы мне не сказали?

– Хочешь танцевать со мной? – спросил Курилка.

– Хорош кавалер! – сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать – авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кровати; Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились около них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кровать, – ей хорошо в ящике!

– Спасибо! – сказали цветы. – Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

– Нет, вы не должны умирать! – сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись, – должно быть, из королевского дворца. Впереди всех шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах – это были король с королевой. За ними, раскланиваясь на все стороны, шли чудесные левкой и гвоздики. Музыканты – крупные маки и пионы – дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали – и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец цветы пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кровать, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог – да, они лежали в кровати, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и казалась ужасно сонной.

– А ты помнишь, что тебе надо передать мне? – спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

– Какая же ты нехорошая! – сказала Ида. – А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с хорошенькою нарисованною птичкой на крышке, раскрыла ее и положила туда мертвые цветы.

– Вот вам и гробик! – сказала она. – А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные цветы, которые умерли, и позволила похоронить их. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробочке. Вырыли в саду могилку. Ида поцеловала цветы и опустила коробочку в ямку, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков – ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

Дюймовочка



Жила-была женщина; ей страх как хотелось иметь ребеночка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

– Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, где мне его взять?

– Отчего же! – сказала колдунья. – Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок – увидишь, что будет!

– Спасибо! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

– Какой славный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

Тогда что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка, и за то, что она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки – матрацем, а лепесток розы – одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто еще не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепесточком Дюймовочка.

– Вот жена моему сынку! – сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке.

– Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, – сказала старуха жаба. – Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки – это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока разуберем там, внизу, наше гнездышко, и заживете вы в нем на славу.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками – надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сыном к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

– Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала – ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла по реке все дальше и дальше, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели:

– Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и наконец уселся на самый листок – уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.



Мимо летел майский жук, увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек – он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылечка, которого она привязала к листку; ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, напоил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали щупальцами и говорили:

– У нее только две ножки! Жалко смотреть!

– У нее нет щупальцев!

– Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! – сказали в один голос все жучки женского пола.

А Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел больше держать ее у себя – пускай идет, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием в свете: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист – там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуньи птички разлетелись – кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода: платьице ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная – долго ли тут замерзнуть! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все помещение было битком набито хлебными зернами, кухня и кладовая у нее были на загляденье! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна – она два дня ничего не ела!

– Ах ты, бедняжка! – сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. – Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

– Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки – я до них большая охотница.

И Дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.



– Скоро, пожалуй, у нас будут гости, – сказала как-то полевая мышь. – Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубе. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; зато ты должна рассказать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа – ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубу, был очень богат и учен; по словам полевой мыши, помещение у него было в двадцать раз просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветочков и отзывался о них очень дурно – он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот совсем в нее влюбился. Но он не сказал ни слова – он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землей новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и ее закопали как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку – в темноте это ведь все равно что свечка – и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот

проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, ножки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал:

– Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава богу, что моим детям нечего бояться этого! Этакая птичка только и умеет чирикать – поневоле замерзнешь зимой!

– Да, да, правда ваша, – сказала полевая мышь. – Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не сказала ничего, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, эта самая ласточка, которая так чудесно распевала летом! – подумала девочка. – Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинки большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

– Прощай, миленькая птичка, – сказала Дюймовочка. – Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась – внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птицы: она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга – птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, – но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым покрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках, – другого фонаря у нее не было.

– Благодарю тебя, милая крошка! – сказала больная ласточка. – Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

– Ах, – сказала девочка, – теперь так холодно, идет снег! Остайся лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крылышко о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда – не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом – они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка открыла дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней, – пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес! Но Дюймовочка не хотела так бросить полевую мышь – она ведь знала, что старуха очень огорчится.

– Нет, нельзя! – сказала девочка ласточке.

– Прощай, прощай, милая крошка! – сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах – уж очень полюбилась ей бедная птичка.

– Кви-вить, кви-вить! – прощепетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

– Летом тебе придется готовить себе приданое! – сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

– Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все толковал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, – а то она совсем уж как камень стала, – и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер при закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» – думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Дюймовочка приготовила все свое приданое.

– Через месяц твоя свадьба! – сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

– Пустяки! – сказала старуха мышь, – Только не капризничай, а то возьму да укушу тебя белым зубом. У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодарю Бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнышко – крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

– Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему:

– Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь ее!

– Кви-вить, кви-вить! – вдруг раздалось над ее головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за гадкого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

– Скоро придет холодная зима, – сказала ласточка, – и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину – только привяжи себя покрепче поясом, – и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, за высокие горы, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

– Да, да, я полечу с тобой! – сказала Дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страсть как холодно; Дюймовочка вся зарылась в мягкие перья ласточки и только одну головку высунула, чтобы видеть чудесные места, над которыми она пролетала.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей вился чудесный зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек.

Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу чудесного голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, которая принесла Дюймовочку.

– Вот мой дом! – сказала ласточка. – А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него и ты заживешь как нельзя лучше!

– Ах, как чудесно! – сказала крошка и захлопала ручонками.

Внизу лежали большие куски мрамора – это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, а между ними росли чудеснейшие крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф или эльфа, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

– Ах, как он хорош! – шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему огромным страшилищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку, – он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, царицей цветов? Вот это так муж! Не то что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльф или эльфа – такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок! То-то было радости! А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она ведь крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

– Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! – сказал эльф. – Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

– Прощай, прощай! – прощбетала ласточка и опять полетела из теплых краев в далекую Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «кви-вить», от нее-то мы и узнали эту историю.

1835

Нехороший мальчик

Жил-был старый поэт, такой настоящий хороший старый поэт. Раз вечером сидел он дома, а на дворе разыгралась ужасная непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

– Бедные те, кто мокнет сейчас под дождем, – сухой нитки на них не останется! – сказал он, потому что он был очень добрый поэт.

– Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! – закричал за дверями ребенок.



Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окошки.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, не вынес такой непогоды.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и взял его за руку. – Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький: глазенки у него сияли как две звездочки, а мокрые золотистые волосы вились кудрями – ну совсем ангелочек! – только он весь посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный лук; да вот беда – он весь испортился от дождя, краски на длинных стрелах совсем полиняли.

Старый поэт уселся возле печки, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик оправился, щечки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

– Ишь ты, какой веселый мальчуган! – сказал старик поэт. – А как тебя зовут?

– Амур! – отвечал мальчик. – Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

– А лук-то твой испортился! – сказал старый поэт.

– Вот было бы горе! – сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. – Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его попробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

– Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! – закричал он, громко засмеялся и убежал.

– Нехороший мальчик! Выстрелить в старого поэта, который впустил его к себе, обогрел и приласкал, дал ему чудесного вина и самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал; он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

– Фи, какой нехороший мальчик этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним, – он и их обидит.

И все хорошие дети – и мальчики и девочки – стали остерегаться злого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их: такой плут!

Идут себе студенты с лекций, и он рядом; книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им в грудь стрелу.

Идут тоже девушки от священника или в церковь – он уже тут как тут; вечно он преследует людей! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут в чем дело. Бегаёт он и по королевскому саду, и по крепостному валу! А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, злой мальчик этот Амур, никогда не связывайся с ним! Он только и делает, что бегаёт за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось, да и не забудется никогда! Фи! Злой Амур! Но теперь ты знаешь о нем, знаешь, какой он нехороший мальчик!

1835

Дорожный товарищ



Бедняга Йоханнес был в большом горе; отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке; лампа на столе догорала; дело шло к ночи.

– Ты был мне добрым сыном, Йоханнес! – сказал больной. – Бог не оставит тебя своей милостью!

И он ласково и серьезно взглянул на Йоханнеса, глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Йоханнес заплакал. Теперь он остался круглым сиротой: ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев! Бедняга Йоханнес! Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами, но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул.

И приснился ему удивительный сон.

Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, когда был особенно весел; прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Йоханнесу руку, а отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица на свете!»

Тут Йоханнес проснулся, и – прощай все это великолепие! Отец его лежал мертвый, холодный, и никого, никого не было у Йоханнеса! Бедняга Йоханнес!

Через неделю умершего хоронили; Йоханнес шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его! Йоханнес слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали все больше и больше; вот уж виден только один краешек, но еще горсть земли – и гроб скрылся совсем. У Йоханнеса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы: чудное пение растрогало Йоханнеса до слез, он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнышко так приветливо сияло на зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Йоханнес! Посмотри, как красиво голубое небо – там твой отец молится за тебя!»

– Я буду жить праведно и честно! – сказал Йоханнес. – И тогда тоже попаду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся! Сколько у меня будет рассказов! А он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил, бывало, здесь, на земле. Вот будет радость!

И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, громко чирикали и пели; им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении, но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья, куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь, на земле, добрую жизнь. Йоханнес увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и полетели вдаль, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала он сколотил на могилу отца деревянный крест, а когда вечером он принес его туда, то увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами, – об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца.

На другой день рано утром Йоханнес связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс все свое наследство – пятьдесят риксдалеров и еще две мелкие серебряные монетки, и был готов пуститься в путь-дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней «Отче наш» и сказал:

– Прощай, милый отец! Я постараюсь всегда быть добрым, а ты помолись за меня на небе!

Потом Йоханнес свернул в поле. В поле росло много свежих, красивых цветов; они грелись на солнце и качали на ветру головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Йоханнес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек Йоханнес увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханнес поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йоханнесу несколько воздушных поцелуев – вот как горячо желал он Йоханнесу счастливого пути и всего хорошего!

Йоханнес стал думать о чудесах, которые ему предстояло увидеть в обширном и прекрасном мире, и бодро шел вперед все дальше и дальше, туда, где он еще никогда не бывал; вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, и он очутился далеко-далеко от своей родины.

Первую ночь ему пришлось провести в поле, на стогу сена, – другой постели взять было негде. «Ну и что ж, – думалось ему, – лучшей спальни не найдется у самого короля!» В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой – чем не спальня? Вместо ковра – зеленая травка с красными и белыми цветочками, вместо букетов в вазах – кусты бузины и шиповника, а вместо умывальника – целый ручей с хрустальной свежей водой, над которым кланялись камыши и желали ему доброй ночи и доброго утра. Высоко под голубым потолком

висел огромный ночник – месяц; уж этот ночник не подожжет полога! И Йоханнес мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал, крепко проспал всю ночь и проснулся только, когда солнце уже сияло, а птицы пели:

– Здравствуй! Здравствуй! Ты еще не встал?

Колокола звонили к обедне, было воскресенье; народ шел в церковь; пошел за ним и Йоханнес, пропел псалом, послушал слова Божьего, и ему показалось, что он был в своей родной церкви, где его крестили и где он пел псалмы с отцом.

На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханнес вспомнил о могиле отца, которая могла со временем прийти в такой же вид, – некому ведь было больше ухаживать за ней! Он присел на землю и стал обрывать сорную траву, поправил покочнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом: «Может статься, кто-нибудь сделает то же на могиле моего отца теперь, когда я не могу этого сделать сам!»

У ворот кладбища стоял старый калека нищий; Йоханнес отдал ему свои серебряные монеты и, счастливый и довольный, пошел дальше по белу свету.

К вечеру собралась гроза; Йоханнес торопился дойти до дома, где бы он мог укрыться, но скоро наступила полная темнота. Наконец он дошел до часовни, одиноко возвышавшейся на придорожном холме; дверь, к счастью, была приоткрыта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду.

– Тут я и посижу в уголке! – сказал Йоханнес. – Я страшно устал, и мне надо отдохнуть.

И он сел, сложил руки, прочел вечернюю молитву и сам не заметил, как заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром.

В глухую полночь Йоханнес проснулся; гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханнес несколько не испугался – совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего – выбросить его из гроба за порог.

– Зачем вы это делаете? – спросил их Йоханнес. – Это очень дурно и грешно! Оставьте его покоиться с миром!

– Вздор! – сказали злые люди. – Он надул нас! Взял у нас деньги, не заплатил и умер! Теперь мы не получим с него ни гроша; так вот хоть отомстим ему – пусть валяется, как собака, за дверьми!

– У меня всего пятьдесят риксдалеров, – сказал Йоханнес, – это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое! Я обойдусь и без денег, у меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня!

– Хорошо, – сказали злодеи, – если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен!

И вот они взяли у Йоханнеса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой, а Йоханнес хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь.

Идти пришлось через лес; между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки эльфы; они ничуть не пугались Йоханнеса; они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями, другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках трав; иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками подымались такой хохот и возня! Ужасно забавно было! Они пели, и Йоханнес узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с

серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце, малютки эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху, точно простые паутинки.

Йоханнес уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос:

– Эй, приятель, куда путь держишь?

– Куда глаза глядят! – сказал Йоханнес. – У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но Бог не оставит меня!

– Я тоже иду по белу свету куда глаза глядят, – сказал незнакомец. – Давай будем товарищами!

– Ладно! – сказал Йоханнес, и они пошли вместе.

Скоро они очень полюбились друг другу: оба они были славные люди. Но Йоханнес заметил, что незнакомец был гораздо умнее его, обошел чуть не весь свет и умел порассказать обо всем.

Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут к ним подошла старая-престарая бабушка, вся сгорбленная, с клюкой в руках; за спиной у нее была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йоханнесом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула: бедняга сломала себе ногу.

Йоханнес сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него есть такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике.

– Плата хорошая! – сказала старуха и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно, и вот она отдала ему веники, а он сейчас же помазал ей ногу мазью; раз, два – и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была! Такой не достанешь в аптеке!

– На что тебе эти веники? – спросил Йоханнес у товарища.

– А чем не букеты? – сказал тот. – Они мне очень понравились: я ведь чудак!

Потом они прошли еще добрый конец дороги.

– Смотри, как заволакивает, – сказал Йоханнес, указывая перед собой пальцем. – Какие страшные мрачные тучи!

– Нет, – сказал его товарищ, – это не облака, а горы, чудные, высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!

Горы были совсем не так близко, как казалось: Йоханнес с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город; подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханнес с товарищем зашли на постоялый двор, чтобы переночевать и собраться с силами к следующему утру.

В нижнем этаже, в пивной, собралось много народу: там давалось кукольное представление; хозяин марионеток поставил посреди комнаты свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся толстый мясник с большущим бульдогом. У, как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таранился на представление.

Представление началось и шло прекрасно: на бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами – такая роскошь была им по средствам. У всех входов стояли великолепнейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты.

Словом, представление было чудесное и совсем не печальное; но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает что сделалось с бульдогом; хозяин не держал его, он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и – крак! – перекусил ее пополам. Вот был ужас!

Бедный хозяин марионеток ужасно перепугался и огорчился за бедную королеву – это была самая красивая из всех его кукол, и вдруг гадкий бульдог изуродовал ее! Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву, вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу; кукла сейчас же опять стала целехонька и вдобавок начала сама двигать руками и ногами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки: выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен; теперь ему не нужно было управлять королевой, она могла танцевать сама, не то что другие куклы!

Ночью, когда все люди в гостинице улеглись спать, кто-то вдруг завздохал, так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось, а хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру – вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы, и король и телохранители, лежали вперемешку, глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза; им тоже хотелось, чтобы их помазали, как королеву, – тогда бы и они могли двигаться сами! Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря: «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных!» Бедняга хозяин не мог удержаться от слез, так ему жаль стало своих кукол, пошел к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет четыре-пять лучших из его кукол. Товарищ Йоханнеса сказал, что денег он не возьмет, а потребовал у хозяина большую саблю, которая висела у него на боку. Получив ее, он помазал шесть кукол, которые сейчас же заплясали, да так чудесно, что, глядя на них, заплясали и все живые, настоящие девушки, заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами; ну, да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночь!

На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись наконец так высоко, что колокольни внизу казались им красненькими ягодками в зелени, и, куда ни оглянешь, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал; теплое солнышко ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов. Божий мир был так чудно хорош, что у Йоханнеса выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть:

– Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!

Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение: они подняли головы – в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птице; но голос его звучал все слабее и слабее, он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю: прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой!

– Какие чудные крылья! – сказал товарищ Йоханнеса. – Такие большие и белые, цены им нет! Они могут нам пригодиться! Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю!

И он одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла.

Потом они прошли еще много-много миль и наконец увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные; в середине города стоял величественный мраморный дворец с крышей из червонного золота; тут жил король.

Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им, что король – человек очень

добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-презлая. Конечно, она первая красавица на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том, что всякому – и принцу и нищему – было позволено свататься за нее; жених должен был только отгадать три вещи, которые задумывала принцесса; отгадай он – она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всей страной, нет – и его вешали или отрубали ему голову. Вот какая злая была красавица принцесса! Старик король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделаться и раз навсегда отказался иметь дело с ее женихами, – пусть-де она ведается с ними сама как знает. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили – могли бы не свататься, ведь их предупреждали заранее!

Старик король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее, но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет: чем иначе могли они выразить свою печаль?

– Гадкая принцесса! – сказал Йоханнес. – Ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу!

В эту самую минуту народ на улице закричал «ура». Мимо проезжала принцесса; она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «ура». Принцессу окружали двенадцать красавиц амазонок на вороных конях; все они были в белых шелковых платьях, с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой как снег лошади; вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами; платье на принцессе было из чистого золота, а хлыст в руках сверкал, точно солнечный луч; на голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч красивейших бабочкиных крыльев, но сама принцесса была все-таки гораздо лучше всех своих нарядов.

Йоханнес взглянул на нее, покраснел как маков цвет и не мог вымолвить ни слова: она как две капли воды была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть, – сказал он сам себе, – чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему; пойду же и я во дворец! От судьбы, видно, не уйдешь!»

Все стали отговаривать его – ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Дорожный товарищ Йоханнеса тоже не советовал ему пробовать счастья, но Йоханнес решил, что бог даст все пойдет хорошо, вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец.

– Войдите! – сказал старый король, когда Йоханнес постучал в дверь.



Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его одетый в халат; на ногах у него были вышитые туфли, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой – держава.

– Постой! – сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханнесу руку.

Но как только он услышал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр и державу и принялся утирать слезы полами халата. Бедный старичок король!

– И не пробуй лучше! – сказал он. – С тобой будет то же, что со всеми! Вот погляди-ка!

И он свел Йоханнеса в сад принцессы. Брр... какой ужас! На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна о другую, пугая птиц,

которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов там служили человечесьи кости, в цветочных горшках торчали черепа с оскаленными зубами – вот так сад был у принцессы!

– Вот видишь! – сказал старик король. – И с тобой будет то же, что с ними! Не пробуй лучше! Ты ужасно огорчаешь меня, я так близко принимаю это к сердцу.

Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все кончится хорошо, потому что он без памяти полюбил прекрасную принцессу.

В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Йоханнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди.

Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками, но старик король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам!

Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз – придет еще два раза; но никому еще не удавалось отгадать и одного раза, все платились головой за первую же попытку.

Йоханнеса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним; он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью; каким образом поможет он ему – Йоханнес не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая, по дороге, пока наконец не пришел обратно на постоянный двор, где его ждал товарищ.

Йоханнес без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его, и дожидаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет наконец во дворец попытать счастья.

Но дорожный товарищ Йоханнеса грустно покачал головой и сказал:

– Я так люблю тебя, мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя! Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя: сегодня, может быть, последний день, что мы вместе! Повеселимся же хоть сегодня! Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец!

Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театр закрылся, торговки сладостями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее: ведь и с Йоханнесом должно было случиться то же, что с прочими женихами.

Вечером товарищ Йоханнеса приготовил пунш и предложил Йоханнесу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил два стакана, и ему ужасно захотелось спать, глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял два больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розог из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать.

В городе было тихо-тихо; вот пробило три четверти двенадцатого, окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще, с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханнеса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Брр... вот так был полет! Ее плащ раздувался от ветра, точно парус, и через него просвечивал месяц.

– Что за град! Что за град! – говорила принцесса при каждом ударе розог, и поделом ей было.

Наконец она добралась до горы и постучала. Раздался точно удар грома, и гора раскрылась; принцесса вошла, а за ней и товарищ Йоханнеса – ведь никто не мог видеть его, он сделался невидимкой. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами – по ним бегали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большую залу из серебра и золота; на стенах сияли большие красные и голубые цветы вроде подсолнечников, но боже упаси сорвать их! Стебли их были гадкими ядовитыми змеями, а самые цветы – пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями; удивительное было зрелище! Посреди залы стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек; сбруя на лошадях была из огненных пауков, самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянной хорошенькими зелеными мухами, блестящими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль; его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка; большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу. Вот был концерт! Маленькие домовые с блуждающими огоньками на колпачках плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал все!

Постепенно в зал набралось много придворных, они держались очень чинно и прилично, но тот, у кого были глаза во лбу, заметил бы, что придворные – это ни больше ни меньше как простые палки с кочными капусты вместо голов – тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья; впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада!

Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец.

– Знаешь, – сказал тролль, – надо выбрать самое простое, что ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмачке. Ни за что не отгадает! Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза, я их съем!

Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой, а товарищ Йоханнеса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханнеса полетел обратно на постоянный двор; Йоханнес еще спал; товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель – еще бы, устал порядком!

Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах; дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему чудесный сон, который он видел ночью; он видел, что принцесса загадала про свой башмачок, и потому просил Йоханнеса непременно назвать принцессе башмачок. Он как раз слышал об этом в горе у тролля, но не хотел рассказывать Йоханнесу.

– Что ж, для меня все равно, что ни назвать! – сказал Йоханнес. – Может быть, твой сон и в руку: я ведь все время думал, что Бог поможет мне! Но я все-таки прощусь с тобой: если я не угадаю, мы больше не увидимся.

Они поцеловались, и Йоханнес отправился во дворец.

Зала была битком набита народом; судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха, – им ведь приходилось так много думать! Старик король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Но вот вошла принцесса; она была еще краше вчерашнего, мило раскланялась со всеми, а Йоханнесу подала руку и сказала:

– Ну, здравствуй!

Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Йоханнеса! Но как только он произнес: «башмачок», она побелела как мел и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего – Йоханнес угадал.

Эх! Старик король даже перекувырнулся на радостях – все и рты разинули! И принялись хлопать королю, да и Йоханнесу тоже – за то, что он правильно угадал.

Дорожный товарищ был тоже очень доволен, что все сошло так благополучно, а Йоханнес поблагодарил Бога, надеясь, что он поможет ему и в следующие разы. Ведь на другой день надо было приходиться опять.

Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Йоханнес заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой два пучка розог; никто не видал его, и он опять подслушал совет тролля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищ и передал Йоханнесу, снова сославшись на свой сон. Йоханнес угадал и во второй раз, и во дворце пошло такое веселье, что только держись! Весь двор стал кувыркаться – ведь сам король подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Йоханнес в третий раз; если да, то женится на красавице принцессе и унаследует по смерти старика короля все королевство; нет – его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза.

В этот вечер Йоханнес рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул, а товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка розог и полетел ко дворцу.

Тьма была хоть глаз выколи; бушевала такая гроза, что черепицы валялись с крыш, а деревья в саду со скелетами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. Но вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть; но она смеялась над непогодой – ей все еще было мало; белый плащ ее бился на ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Йоханнеса до крови хлестал ее всеми тремя пучками розог, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы.

– Град так и сечет! Ужасная гроза! – сказала она. – Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду.

– Да, видно, что тебе порядком досталось! – сказал тролль.

Принцесса рассказала ему, что Йоханнес угадал и во второй раз; случись то же и в третий, он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать. Было поэтому о чем печалиться.

– Не угадает он больше! – сказал тролль. – Я найду что-нибудь такое, чего ему и в голову прийти не может, иначе он тролль почище меня. А теперь будем плясать!

И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами и блуждающими огоньками, а красные пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова била в барабан, сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал!

Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли там хватиться; тролль сказал, что проводит ее, и они, таким образом, подольше побудут вместе.

Они летели, а товарищ Йоханнеса хлестал их всеми тремя пучками розог; никогда еще троллю не случалось вылетать в такой град.

Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо:

– Загадай о моей голове!

Товарищ Йоханнеса, однако, расслышал его слова, и в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную черную бороду и срубил ему саблей гадкую голову по самые плечи!

Тролль и глазом моргнуть не успел! Тело тролля товарищ Йоханнеса бросил в озеро, а голову окунул в воду, затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узлом домой.

Наутро дорожный товарищ отдал Йоханнесу узел, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала.

Большая дворцовая зала была битком набита народом; люди жались друг к другу, точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик король разделся в новое платье, корона и скипетр его были вычищены на славу; зато принцесса была бледна и одета в траур, точно собралась на похороны.

– О чем я загадала? – спросила она Йоханнеса.

Тот сейчас же развязал платок и сам испугался при виде гадкой головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Йоханнесу руку – он ведь угадал – и, не глядя ни на кого, сказала с глубоким вздохом:

– Теперь ты мой господин! Вечером сыграем свадьбу!

– Вот это я люблю! – сказал старик король. – Вот это дело!



Народ закричал «ура», дворцовая стража заиграла марш, колокола зазвонили, и торговки сладостями сняли с сахарных поросят траурный креп – теперь повсюду была радость! На площади были выставлены три жареных быка с начинкой из уток и кур – все могли подходить и отрезать себе по куску; в фонтанах било чудеснейшее вино, а в булочных каждому, кто покупал кренделей на два гроша, давали в придачу шесть больших пышек с изюмом!

Вечером весь город был иллюминирован, солдаты палили из пушек, мальчишки – из хлопушек, а во дворце ели, пили, чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно:

Много тут девиц прекрасных,
Любо им плясать и петь!
Так играйте ж плясовую,
Полно девицам сидеть!
Эй, девица, веселей,
Башмачков не пожалей!

Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Йоханнеса; дорожный товарищ его не забыл об этом, дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой; потом Йоханнес должен был вылить туда эти капли и бросить перья, а когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза, – тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.

Йоханнес сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Йоханнеса в руках, превратившись в большую, черную как смоль лебедь со сверкающими глазами; во второй раз она вынырнула из воды уже белой лебедью с небольшим черным кольцом вокруг шеи. Йоханнес воззвал к Богу и погрузил птицу в третий раз – и в то же мгновение она опять сделалась красавицей принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами в чудных глазах благодарила Йоханнеса за то, что он освободил ее от чар.

Утром явился к ним старик король со всею свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханнеса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханнес расцеловал его и стал просить остаться – ему ведь был он обязан своим счастьем! Но тот покачал головой и ласково сказал:

– Нет, настал мой час! Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший – я!

В ту же минуту он скрылся.

Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга, и старик король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своими скипетром и державой внучат, в то время как Йоханнес правил королевством.

1835

Русалочка



В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как стекло, – но зато и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна; на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся как живые при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют большие и маленькие рыбы – точь-в-точь как у нас здесь птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с большими остроконечными окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются смотря по приливу или отливу, это очень красиво, потому что в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по шести. Вообще же она была особа достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы – как огоньки. Земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком; на дне морском на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск, – можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой,

но и под ногами. В безветрие можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко; тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка; такая тихая, задумчивая... Другие сестры украшали свои садики разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви ее перевешивались через статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень, – вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахли, – не то что тут в море! – что леса там были зеленые, а рыбки, которые жили в ветвях, звонко пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее; они ведь сроду не видывали птиц.

– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила бабушка, – вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам – а они все были погодки – приходилось еще ждать, и дольше всех – целых пять лет – самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день, – рассказы бабушки мало удовлетворяли их любопытство, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал над нею кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любясь раскинувшимся по берегу городом; там, точно сотни звездочек, горели огни, слышалась музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда хочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Окрашенные в пурпуровые и фиолетовые цвета, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их несла к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего; куда ни оглянешь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинутое над водой, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, виднелись большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины, и огромные киты пускали из ноздрей сотни фонтанов.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы – ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развеивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загредел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убрали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.

Вообще каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз, – все было для них ново и поэтому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали уже говорить, что везде хорошо, а дома лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность воды, у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о чудесах подводного царства и просили моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумит буря; да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес: если корабль погибал, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не могут плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

– Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? – говорила она. – Я знаю, что очень люблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

– Ну вот, вырастили и тебя! – сказала бабушка, вдовствующая королева. – Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий – каждый лепесток был половинкой жемчужины, – потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам.

– Да это больно! – сказала русалочка.

– Ради красоты надо потерпеть! – сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец: красненькие цветочки из ее садика шли ей куда больше, но делать нечего!

– Прощайте! – сказала она и легко и плавно, точно прозрачный водяной пузырь, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажглась ясная вечерняя звезда; воздух был мягок и свеж, а море неподвижно, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом – не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звездочки небесные попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине чудной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль несся все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и засверкали молнии. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу; грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех бывших на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умирать! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они всякую минуту могут раздавить ее самое. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.



К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы, и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоял у нее в саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она увидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания – высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце.

В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной – теперь никто не различил бы в этой пене ее беленького личика – и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она не рассказала им ничего.

Часто и вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели в садах плоды, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли как хотели по тропинкам и дорожкам, переплелись своими стебельками и листочками с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, да их самых близких подруг. Одна из русалок тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.

– Поплыли с нами, сестрица! – сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись все вместе на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она: она же заплывала и в узкий канал, который протекал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей прекрасной лодке, украшенной развевающимися флагами, – русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь взмахнул крылом. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда он полумертвым носился по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, когда она поцеловала так нежно его красивый лоб. А он-то ничего не знал о ней, она ему даже и во сне не снилась!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владении пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко, и глазом было их не окинуть! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

– Как же! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская, у нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не будем жить, мы – как тростник; раз срезанный, он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам! Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои триста лет за один день человеческой жизни, с тем, чтобы потом принять участие в небесном блаженстве людей.

– Вздор! Нечего и думать об этом! – сказала старуха. – Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

– Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и ты тоже вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым – твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они нимало не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки – ноги, как они их называют.

Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

– Будем жить – не тужить! – сказала старуха. – Повеселимся вволю свои триста лет – это-таки порядочный срок, тем слаще будет отдых по смерти! Сегодня вечером у нас при дворе бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены – и самое море. Видно было, как к стенам подплывали стаи и больших и малых рыб, сверкавших пурпурно-золотистой и серебристой чешуей.

Посреди зала вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких чудных голосов не бывает у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце и печалиться о том, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки волторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла ради него и ради бессмертной души! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме: я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не было ни цветов, ни даже травы – один только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; затем на пути к жилищу ведьмы лежало еще большое пространство, покрытое горячим, пузырившимся илом; это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и самое жилище ведьмы, окруженное диковинным лесом: деревья и кусты были полипами – полуживотными-полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка; ветви их были длинными осклизлыми руками с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забило от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не схватили полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между гадкими полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая свое гадкое светло-желтое брюшко, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им валяться на своей большой ноздреватой, как губка, груди.

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе – тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

– Ну ладно, ты пришла в самое время! – продолжала ведьма. – Приди ты завтра поутру, было бы поздно и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю для тебя питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто ни увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную скользкую походку – ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что

каждый шаг будет причинять тебе нестерпимую боль, так что изранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь моей помощи?

– Да! – сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

– Помни, – сказала ведьма, – что раз ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, так что вы станете мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

– Пусть! – сказала русалочка и побледнела как смерть.

– Ты должна еще заплатить мне за помощь, – сказала ведьма. – А я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того, чтобы он стал острее, как лезвие меча.

– Если ты возьмешь мой голос, что же останется у меня? – спросила Русалочка.

– Твое прелестное лицо, твоя скользкая походка и твои говорящие глаза – довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток!

– Хорошо! – сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

– Чистота – лучшая красота! – сказала она и обтерла котел связкой живых ужей, а потом расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, от которой стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал глядя, на них. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, послышался точно плач крокодила. Наконец напиток был готов и имел вид прозрачайшей ключевой воды!

– Вот тебе! – сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая – не могла больше ни петь, ни говорить!

– Если полипы захотят схватить тебя, когда ты поплывешь назад, – сказала ведьма, – брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого сделать – полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда – она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.



Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, будто ее пронзили насквозь обоюдоострым мечом, она потеряла сознание и упала как мертвая. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль, зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее были две чудесные ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем голешенька и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: с каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, воздушная, как водяной пузырек, принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.

Русалочку разодели в шелк и кисею, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!» Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение лишь увеличивало ее красоту, одни глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденным, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ножки ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел шить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви били ее по плечам, они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались облаками, плившими у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» – казалось, спрашивали глаза русалочки, в то время как принц обнимал ее и целовал в лоб.

– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! – думала русалочка. – Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, где был храм, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу девушку, которую он любит больше, чем меня! – И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. – Но та девушка принадлежит храму, никогда не появится в свет, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть прин-

цессу; с ним отправится большое посольство. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась – она ведь лучше всех знала мысли принца.

– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо увидеть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, я же никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого блаженства и бессмертной души.

– Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? – говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц рассказывал ей о бурях, и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах моря, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы, – она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны; и вот ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было – она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались кроткие темно-синие глаза.

– Это ты! – сказал принц. – Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту.

– Ах, я так счастлив! – сказал он русалочке. – То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену!

Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. На алтарях были зажжены серебряные светильники, в которых горело ароматное масло; из кадилниц священников струилось благоухание ладана. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряет с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, а на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре возвышалось чудное ложе для новобрачных. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся вперед.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела то же великолепие и веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром

воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге; никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли – сердцу ее было еще больнее. Лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения, тогда как он и не подозревал о том. Лишь одну ночь еще оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу невесту, а она играла его черными волосами; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, один рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные, роскошные волосы не развевались больше по ветру – они были обрезаны.

– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавиться тебя от смерти! Она дала нам вот этот нож – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем сделаешься соленой морской пеной. Но спеши! Или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а наши волосы остригла ведьма! Убей принца и вернись к нам! Торопись, видишь, на небе показалась красная полоска! Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной невесты покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей невесты – она одна была у него в мыслях! – и нож дрогнул в руках русалочки. Еще минута – и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она могла видеть сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая неземная, что ничье человеческое ухо не могло расслышать ее, так же как ничей человеческий глаз не мог видеть их самих. У них не было крыльев, и они носились по воздуху только благодаря своей собственной легкости. Русалочка увидела, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

– К кому я иду? – спросила она, поднимаясь на воздух, и ее голос звучал такую же дивную неземную музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она не может иначе, как благодаря любви человека. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу

и сможем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама сможешь обрести себе бессмертную душу.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к Божьему солнышку и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

– Через триста лет мы войдем в Божье царство!

– Может быть, и раньше! – прошептала одна из дочерей воздуха. – Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если найдем там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, и срок испытания сокращается на целый год.

Дитя не знает, что если мы, залетев в комнату, улыбнемся от радости, наш трехсотлетний срок сократится на целый год, зато если мы встретим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания еще лишний день!

1837

Новый наряд короля



Давным-давно жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги, и смотри войскам, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд, и

как про других королей часто говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице короля жилось очень весело; каждый день почти приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей, которые умеют изготавливать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличалась еще удивительным свойством – становиться невидимой для всякого человека, который был не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! – подумал король. – Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это припрятывали в карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» – думал король. Но тут он вспомнил о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки пусть бы сначала пошел кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или негодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, – подумал король. – Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и с честью занимает свое место».

И вот старик министр вошел в покой, где сидели за пустыми станками обманщики.

«Господи помилуй! – думал министр, тараща глаза. – Я ведь ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть.

«Ах ты, господи! – думал он. – Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Спаси боже, если кто-нибудь узнает!.. Или, может быть, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

– Что ж вы ничего не скажете нам? – спросил один из ткачей.

– О, это премило! – ответил старик министр, глядя сквозь очки. – Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

– Рады стараться! – сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

– Ну, как вам нравится? – спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было.

«Я неглуп, – думал сановник. – Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь чудесным рисунком и сочетанием красок.

– Премило, премило! – доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целой свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках.

– Magnifique!¹ Не правда ли? – заговорили первые два сановника. – Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок! Какие краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Да что же это такое! – подумал король. – Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

– О да, очень, очень мило! – сказал, наконец, король. – Вполне заслуживает моего одобрения.

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, – он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого, и тем не менее все повторяли в один голос: «Очень, очень мило!» – и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

– Magnifique! Чудесно! Excellent!² – только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге!

Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей: всем было ясно, что они старались кончить к сроку новый наряд короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток.

Наконец они объявили:

– Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держат что-то, приговаривая:

– Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть!

– Да, да! – говорили придворные, но они ничего не видали – нечего ведь было и видеть.

– А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! – сказали королю обманщики. – Мы нарядим вас.

Король разделся, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то в плечах и на талии, – это они надевали на него королевскую мантию! А король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны.

– Боже, как идет! Как чудно сидит! – шептали в свите. – Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

– Балдахин ждет! – доложил оберцеремониймейстер.

– Я готов! – сказал король. – Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

¹ Изумительно! (фр.)

² Великолепно! (фр.)

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с полу, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки, – они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а в народе говорили:

– Ах, какой бесподобный наряд у короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел показаться глупцом или никуда не годным человеком. Да, ни один наряд короля не вызывал еще таких восторгов.

– Да ведь он совсем голый! – закричал вдруг один маленький мальчик.

– Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

– Да ведь он совсем голый! – закричал, наконец, весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

1837

Калоши счастья

1. Для начала

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой Королевской площади; в одном доме собралось большое общество: приходится ведь время от времени принимать у себя гостей – примешь, угостишь и можешь в свою очередь ожидать приглашения. Часть общества уже уселась за карточные столы, другие же гости, с самой хозяйкой во главе, ждали, не выйдет ли чего-нибудь из слов хозяйки: «Ну, надо бы и нам придумать, чем заняться!» – а пока что беседовали между собою о том да о сем.

Так вот, разговор шел себе помаленьку и, между прочим, коснулся Средних веков. Некоторые из собеседников считали эту эпоху куда лучше нашего времени; особенно горячо отстаивал это мнение советник Кнап; к нему присоединилась хозяйка дома, и оба принялись опровергать слова Эрстеда, доказывавшего в только что вышедшем новогоднем альманахе, что наше время, в общем, гораздо лучше Средних веков. Самой же прекраснейшей и счастливейшей эпохой советник признавал времена короля Ханса.

Под шумок этой беседы, прерванной лишь на минуту появлением вечерней газеты, в которой, однако, нечего было читать, мы перейдем в переднюю, где висело верхнее платье, стояли палки, зонтики и калоши. Тут же сидели две девушки, молодая и пожилая, явившиеся сюда, по-видимому, в качестве провожатых каких-нибудь старых барышень или вдовушек. Вглядевшись в них попристальнее, всякий, однако, заметил бы, что они не простые служанки; руки их были слишком нежны, осанка и все движения слишком величественны, да и платье отличалось каким-то особенно смелым, своеобразным покроем. Это были две феи: младшая если и не сама фея Счастья, то горничная одной из ее камерфрейлин, на обязанности которой лежала доставка людям маленьких даров счастья; пожилая, смотревшая очень серьезно и озабоченно, была фея Печали, всегда исполнявшая все свои поручения собственной высокою персоной, – таким образом, она, по крайней мере, знала, что они исполнены как должно.



Они рассказывали друг другу, где побывали в этот день. Горничной одной из камерфрейлин феи Счастья удалось исполнить сегодня лишь несколько ничтожных поручений: спасти от ливня чью-то новую шляпу, доставить одному почтенному человеку поклон от важного ничтожества и тому подобное. Зато у нее было в запасе кое-что необыкновенное.

– Дело в том, – сказала она, – что сегодня день моего рождения, и в честь этого мне дали пару калош, которые я должна принести в дар человечеству. Калоши эти обладают свойством переносить каждого, кто наденет их, в то место или в условия того времени, которые ему больше всего нравятся. Все желания человека относительно времени или местопребывания будут, таким образом, исполнены, и человек станет, наконец, воистину счастливым!

– Как бы не так! – сказала фея Печали. – Твои калоши принесут ему истинное несчастье, и он благословит ту минуту, когда избавится от них!

– Ну вот еще! – сказала младшая из фей. – Я поставлю их тут у дверей, кто-нибудь по ошибке наденет их вместо своих и станет счастливецом.

Вот какой был разговор.

2. Что случилось с советником



Было уже поздно; советник Кнап, углубленный в размышление о временах короля Ханса, собрался домой, и случилось ему вместо своих калош надеть калоши счастья. Он вышел в них на улицу, и волшебная сила калош сразу перенесла его во времена короля Ханса, так что ноги его в ту же минуту ступили в невылазную грязь, – в то время ведь еще не было тротуаров.

– Вот грязь-то! Ужас что такое! – сказал советник. – Вся панель затоплена, и ни одного фонаря!

Луна взошла еще недостаточно высоко; стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближнем углу висел образ Мадонны и перед ним зажженная лампада, дававшая, однако, такой свет, что хоть бы его и не было вовсе; советник заметил его не раньше, чем поравнялся с образом вплотную.

– Ну вот, – сказал он, – тут, верно, выставка картин, и они забыли убрать на ночь вывеску.

В это время мимо советника прошло несколько человек, одетых в средневековые костюмы.

– Что это они так вырядились? Должно быть, на маскараде были! – сказал советник.

Вдруг послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, советник остановился и увидел странное шествие: впереди всех шли барабанщики, усердно работавшие палками, за ними воины, вооруженные луками и самострелами; вся эта свита сопровождала какое-то духовное лицо. Пораженный советник спросил, что означает это шествие и что это за важное лицо?

– Епископ Зеландский! – отвечали ему.

– Господи помилуй! Что такое приключилось с епископом? – вздохнул советник, качая головой. – Нет, не может быть, чтобы это был епископ!

Размышляя о только что виденном и не глядя ни направо, ни налево, советник вышел на площадь Высокого моста. Моста, ведущего к дворцу, на месте, однако, не оказалось, и советник впотьмах едва разглядел какой-то широкий ручей да лодку, в которой сидело двое парней.

– Господину угодно на остров? – спросили они.

– На остров? – сказал советник, не знавший, что блуждает в Средних веках. – Мне надо в Кристианову гавань, на Малую Торговую улицу!

Парни только посмотрели на него.

– Скажите мне, по крайней мере, где мост! – продолжал советник. – Ведь это безобразие! Не горит ни единого фонаря, и такая грязь, точно шагаешь по болоту.

Но чем больше он говорил с ними, тем меньше понимал их.

– Не понимаю я вашей борнхольмщины! – рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.

Но моста ему так и не удалось найти; перил на канале тоже не оказалось.

– Ведь это же просто скандал! – сказал он.

Никогда еще наше время не казалось ему таким жалким, как в данную минуту!

«Право, лучше взять извозчика! – подумал он. – Но куда же девались все извозчики? Хоть бы один! Вернусь на Новую Королевскую площадь, там, наверное, стоят экипажи! Иначе мне вовек не добраться до Кристиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и уже почти прошел ее, когда над головой его всплыл желтый месяц.

– Боже милостивый! Что это тут нагородили? – сказал он, увидев перед собой Восточные городские ворота, которыми заканчивалась в те времена Восточная улица.

Наконец он отыскал калитку и вышел на нынешнюю Новую Королевскую площадь, бывшую в то время большим лугом. Кое-где торчали кусты, а посередине протекал какой-то ручей или канал; на противоположном берегу виднелись жалкие деревянные лачуги, в которых ютились лавки для аландских шкиперов, отчего и самое место называлось Аландским мысом.

– Или это обман зрения, фата-моргана, или я пьян! – охал советник. – Что же это такое? Что же это такое?

Он опять повернул назад, в полной уверенности, что болен; на этот раз он повнимательнее присмотрелся к домам и увидел, что большинство из них было построено наполовину из кирпичей, наполовину из бревен и многие крыты соломой.

– Нет! Я положительно нездоров! – вздыхал он. – А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много! Да и что за нелепость угощать людей пуншем и вареной семгой! Я непременно скажу об этом агентше! Не вернуться ли мне к ним рассказать, что случилось со мной? Нет, неловко! Да и, пожалуй, они улеглись!

Он поискал знакомый дом, но и его не было.

– Это ужас что такое! Я не узнаю Восточной улицы! Ни единого магазина! Повсюду какие-то старые, жалкие лачуги, точно я в Роскилле или Рингстеде! Ах, я болен! Нечего тут и стесняться! Вернусь к ним! Но куда же девался дом агента? Или он сам на себя не похож больше?.. А, вот тут еще не спят! Ах, я совсем, совсем болен!

Он натолкнулся на полуотворенную дверь, из которой виднелся свет. Это была одна из харчевен тогдашней эпохи, нечто вроде нашей пивной. В комнате с глиняным полом сидели за кружками пива несколько шкиперов и копенгагенских горожан и двое ученых; все были заняты беседой и не обратили на вновь вошедшего никакого внимания.

– Извините! – сказал советник встретившей его хозяйке. – Мне вдруг сделалось дурно! Не наймете ли вы мне извозчика в Кристианову гавань?

Женщина посмотрела на него и покачала головой, потом заговорила с ним по-немецки. Советник подумал, что она не понимает по-датски, и повторил свою просьбу по-немецки; это обстоятельство в связи с покроем его платья убедило хозяйку, что он иностранец. Ему не пришлось, впрочем, повторять два раза, что он болен, – хозяйка сейчас же принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и стал размышлять о странном зрелище, которое он видел перед собой.

– Это вечерний «День»? – спросил он, чтобы сказать что-нибудь, увидав в руках хозяйки какой-то большой лист.

Она не поняла его, но протянула ему лист; оказалось, что это был грубый рисунок, изображавший небесное явление, виденное в Кельне.

– Вот старина! – сказал советник и совсем оживился, увидав эту редкость. – Где вы взяли такой рисунок? Это очень интересно, хотя, разумеется, все выдуманно! Как объясняют теперь, это было северное сияние, известное проявление воздушного электричества!

Сидевшие поближе и слышавшие его речь удивленно посмотрели на него, а один из них даже встал, почтительно приподнял шляпу и серьезно сказал:

– Вы, вероятно, большой ученый.

– О нет! – отвечал советник. – Так себе! Хотя, конечно, могу поговорить о том и о сем не хуже других!

– Modestia³ прекраснейшая добродетель! – сказал собеседник. – Что же касается вашей речи, то mihi secus videtur⁴, хотя я и охотно погожу высказывать свое iudicium⁵!

– Смею спросить, с кем я имею удовольствие беседовать? – спросил советник.

– Я бакалавр богословия! – отвечал собеседник.

Этого было для советника вполне довольно – титул соответствовал покрою платья незнакомца. «Должно быть, какой-нибудь сельский учитель, каких еще можно встретить в глуши Ютландии!» – решил он про себя.

– Здесь, конечно, не locus docendi⁶, – начал опять собеседник, – но я все-таки прошу вас продолжать вашу речь! Вы, должно быть, очень начитаны в древней литературе?

– Да, ничего себе! – отвечал советник. – Я почитываю кое-что хорошее и из древней литературы, но люблю и новейшую, только не «обыкновенные истории» – их довольно и в жизни!

– «Обыкновенные истории»? – спросил бакалавр.

– Да, я говорю о современных романах.

– О, они очень остроумны и имеют большой успех при дворе! – улыбнулся бакалавр. – Королю особенно нравятся романы о рыцарях Круглого стола, Ифвенте и Гаудиане⁷; он даже изволил шутить по поводу них со своими высокими приближенными.

– Этого я еще не читал! – сказал советник. – Должно быть, Хейберг опять что-нибудь новое выпустил!

– Нет, не Хейберг, а Готфрид Геменский! – отвечал бакалавр.

– Вот кто автор! – сказал советник. – Это очень древнее имя! Так ведь назывался первый датский типографщик!

– Да, это наш первый типографщик! – отвечал бакалавр.

Таким образом, разговор благополучно поддерживался. Потом один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей несколько лет тому назад, то есть в 1484 году. Советник подумал, что дело шло о недавней холере, и беседа продолжалась.

Мимоходом нельзя было не затронуть столь близкую по времени войну 1490 года, когда английские каперы захватили на рейде датские корабли, и советник, переживший события 1801 года, охотно вторил общим нападкам на англичан. Но дальше беседа как-то перестала клеиться; добряк бакалавр был слишком невежествен, и самые простые выражения и отзывы советника казались ему слишком вольными и фантастическими. Они удивленно смотрели друг на друга и когда наконец совсем перестали понимать один другого, бакалавр заговорил полатыни, думая хоть этим помочь делу, но не тут-то было.

³ Скромность (лат.).

⁴ Я другого мнения (лат.).

⁵ Суждение (лат.).

⁶ Место ученых бесед (лат.).

⁷ Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что король Ханс, прочитав роман о рыцарях короля Артура, шутливо заметил своему любимцу Отто Руду: «Эти господа Ифвент и Гаудиан были удивительными рыцарями, теперь что-то таких не встречается!» На это Отто Руд ответил: «Если бы встречалось много таких королей, как Артур, встречалось бы много и таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан» (Примеч. автора).

– Ну что, как вы себя чувствуете? – спросила советника хозяйка и дернула его за рукав; тут он опомнился – в пылу разговора он совсем забыл, где он и что с ним.

«Господи, куда я попал?»

И голова у него закружилась при одной мысли об этом.

– Будем пить кларет, мед и бременское пиво! – закричал один из гостей. – И вы с нами!

Вошли две девушки; одна из них была в двухцветном чепчике. Они наливали гостям и затем низко приседали; у советника дрожь пробежала по спине.

– Что же это такое? Что же это такое? – говорил он, но должен был пить вместе со всеми; они так приставали к нему, что он пришел в полное отчаяние, и когда один из собутыльников сказал ему, что он пьян, он ничуть не усомнился в его словах и только просил найти ему извозчика, а те думали, что он говорит по-«московитски»!

Никогда еще не случалось ему быть в такой простой и грубой компании. «Подумаешь, право, что мы вернулись ко временам язычества. Это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову подлезть под стол, ползком добраться до двери и незаметно ускользнуть на улицу. Он уже был почти у дверей, как вдруг остальные гости заметили его намерение и схватили его за ноги. О счастье! Калоши снялись с ног, а с ними исчезло и все колдовство!

Советник ясно увидел перед собой зажженный фонарь и большой дом, он узнал и этот дом, и все соседние, узнал Восточную улицу; сам он лежал на панели, упираясь ногами в чьи-то ворота, а возле него сидел и похрапывал ночной сторож.

– Боже ты мой! Так я заснул на улице! – сказал советник. – Да, да, это Восточная улица! Как тут светло и хорошо! Нет, это просто ужасно, что может наделать один стакан пунша!

Минуты две спустя он уже ехал на извозчике в Кристианову гавань и, вспоминая дорогой только что пережитые им страх и ужас, от всего сердца восхвалял счастливую действительность нашего времени, которая со всеми своими недостатками все-таки куда лучше той, в которой ему довелось сейчас побывать. Да, теперь он сознавал это, и нельзя сказать, чтобы не поступал благоразумно.

3. Приключения ночного сторожа

– Никак пара калош лежит! – сказал ночной сторож. – Должно быть, того офицера, что наверху живет. У самых ворот оставил!

Почтенный сторож охотно позвонил бы и отдал калоши владельцу – тем более что в окне у того еще виднелся огонь, – да побоялся разбудить других жильцов в доме и не пошел.

– Удобно, должно быть, в таких штуках! – сказал он. – Кожа-то какая мягкая!

Калоши пришлись ему как раз по ногам, и он остался в них.

– А чудно, право, бывает на белом свете! Вот хоть бы офицер этот, шляется себе взад и вперед по комнате вместо того, чтобы спать в теплой постели! Счастливец! Нет у него ни жены, ни ребят! Каждый вечер в гостях! Будь я на его месте, я был бы куда счастливее!

Он сказал, а калоши сделали свое дело, и ночной сторож стал офицером и телом и душою.

Офицер стоял посреди комнаты с клочком розовой бумажки в руках. На бумажке были написаны стихи, сочинения самого господина офицера. На кого не находят минуты поэтического настроения? А выльешь в такую минуту свои мысли на бумагу, и выйдут стихи. Вот что было написано на розовой бумажке:

«Будь я богат, я б офицером стал, –
Я мальчуганом часто повторял, –
Надел бы саблю, каску я и шпоры
И привлекал бы все сердца и взоры!»

Теперь ношу желанные уборы,
При них по-прежнему карман пустой,
Но ты со мною, Боже мой!

Веселым юношей сидел я раз
С малюткой девочкой в вечерний час.
Я сказки говорил, она внимала,
Потом меня, обняв, расцеловала.
Дитя богатства вовсе не желало,
Я ж был богат фантазией одной;
Ты знаешь это, Боже мой!

«Будь я богат!» – вздыхаю я опять.
Дитя девицею успело стать.
И как умна, как хороша собою,
Люблю, люблю ее я всей душою!
Но беден я и страсти не открою,
Молчу, вступить не смея в спор с судьбой;
Ты хочешь так, о Боже мой!

Будь я богат, счастливым бы я стал
И жалоб бы в стихах не изливал.
О, если бы сердечком угадала
Она любовь мою иль прочитала,
Что здесь пишу!.. Нет, лучше, чтоб не знала,
Я не хочу смутить ее покой.
Спаси ж ее, о Боже мой!

Да, такие стихи пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Офицер, любовь, бедность – вот треугольник или, вернее, половинка разбитой игральной кости счастья. Так оно казалось и самому офицеру, и он, глубоко вздыхая, прислонился головой к окну.

– Бедняк ночной сторож и тот счастливее меня! Он не знает моих мучений! У него есть свой угол, жена и дети, которые делят с ним и горе и радость. Ах, будь я на его месте, я был бы счастливее!

В ту же минуту ночной сторож стал опять сторожем; он ведь сделался офицером только благодаря калошам, но, как мы видели, почувствовал себя еще несчастнее и захотел лучше быть тем, чем был на самом деле. Итак, ночной сторож стал опять ночным сторожем.



– Фу, какой гадкий сон приснился мне! – сказал он. – Довольно забавный, впрочем! Мне чудилось, что я будто бы и есть тот офицер, который живет там, наверху, и мне было совсем не весело! Мне недоставало жены и моих ребятишек, готовых зацеловать меня до смерти!

И ночной сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы. Калоши оставались у него на ногах.

Вдруг с неба скатилась звезда.

– Ишь, покатилась! – сказал он. – Ну, да их много еще осталось! А посмотрел бы я эти штучки поближе, особенно месяц; тот уж не проскочит между пальцев! По смерти, говорит студент, на которого стирает жена, мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это неправда, а то забавно было бы! Вот если бы мне удалось прыгнуть туда сейчас, а тело пусть бы полежало тут, на ступеньках!

Есть вещи, которые вообще надо высказывать с опаской, особенно если у тебя на ногах калоши счастья. Вот послушайте-ка, что случилось с ночным сторожем!

Все мы, люди, или почти все имеем понятие о скорости движения посредством пара, – кто не ездил по железным дорогам или на корабле по морю? Но эта скорость все равно что скорость ленивца-тихохода или улитки в сравнении со скоростью света. Свет бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее самого резвого рысака, а электричество так и еще быстрее. Смерть – электрический удар в сердце, освобождающий нашу душу, которая и улетает из тела на крыльях электричества. Солнечный луч в восемь минут с секундами пробегает более двадцати миллионов миль, но электричество мчит душу еще быстрее, и ей, чтобы облететь то же пространство, нужно еще меньше времени.

Расстояние между различными светилами значит для нашей души не больше, чем для нас расстояние между домами наших друзей, даже если последние живут на одной и той же улице. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни, если у нас нет, как у ночного сторожа на ногах, калош счастья.

В несколько секунд ночной сторож пролетел пятьдесят две тысячи миль, отделяющих Землю от Луны, которая, как известно, состоит из менее плотного вещества, нежели наша Земля, и мягка, как только что выпавший снег. Ночной сторож опустился на одной из бесчисленных лунных гор, которые мы знаем по лунным картам доктора Медлера, – ты ведь тоже знаешь их? В котловине, лежавшей на целую датскую милю ниже подошвы горы, виднелся город с воздушными, прозрачными башнями, куполами и парусообразными балконами, веявшими в редком воздухе; на взгляд все это было похоже на выпущенный в стакан воды яичный белок; над головой ночного сторожа плыла наша Земля в виде большого огненно-красного шара.

На Луне было много жителей, которых по-нашему следовало бы назвать людьми, но у них был совсем другой вид и свой особый язык, и хотя никто не может требовать, чтобы душа ночного сторожа понимала лунный язык, она все-таки понимала его.

Лунные жители спорили о нашей Земле и сомневались в ее обитаемости – воздух на Земле был слишком густ, чтобы на ней могло существовать разумное лунное создание. По их мнению, Луна была единственной обитаемой планетой и колыбелью первого поколения планетных жителей.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что было с телом ночного сторожа.

Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках, палка сторожа, или, как ее зовут у нас, «утренняя звезда», выпала из рук, а глаза остановились на луне, где путешествовала душа.

– Который час? – спросил ночного сторожа какой-то прохожий и, конечно, не дождался ответа. Тогда прохожий легонько щелкнул сторожа по носу; тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину – ночной сторож был мертв. Прохожий перепугался, но мертвый остался мертвым; заявили в полицию и утром тело отвезли в больницу.

Вот была бы штука, если бы душа вернулась и стала искать тело там, где оставила его, то есть на Восточной улице! Она, наверное, бросилась бы в полицию, а потом в контору объявлений искать его в отделе потерянных вещей и, наконец, уже отправилась бы в больницу. Не стоит, однако, беспокоиться, душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно, – только тело делает ее глупой.

Как сказано, тело ночного сторожа привезли в больницу и внесли в приемный покой, где, конечно, первым делом сняли с него калоши, и душе пришлось вернуться обратно; она сразу нашла дорогу в тело, и раз, два – человек ожил! Он уверял потом, что пережил ужаснейшую ночь в жизни; даже за две серебряные марки не согласился бы он пережить такие страсти во второй раз; но теперь дело было, слава богу, закончено.

В тот же день его выписали из больницы, а калоши остались там.

4. «Головоломное» дело. В высшей степени необычайное путешествие



Всякий копенгагенец, конечно, знает наружный вид больницы Фредрика, но, может быть, историю эту прочтут не только копенгагенцы, поэтому нужно дать маленькое описание.

Больница отделена от улицы довольно высокою решеткой из толстых железных прутьев, расставленных настолько редко, что, как говорят, многие тощие студенты-медики могли отлично протискиваться между ними, когда им нужно было сделать в неурочный час маленький визит по соседству. Труднее всего в таких случаях было просунуть голову, так что и тут, как вообще часто в жизни, малоголовые оказывались счастливыми.

Ну вот, для вступления и довольно.

В этот вечер в больнице дежурил как раз такой молодой студент, о котором лишь в физическом смысле сказали бы, что он из числа головастых. Шел проливной дождь, но, несмотря на это неудобство, студенту все-таки понадобилось уйти с дежурства – всего на четверть часа, так что не стоило, по его мнению, и беспокоить привратника, тем более что можно было попросту проскользнуть через решетку. Калоши, забытые сторожем, все еще оставались в больнице;

студенту и в голову не приходило, что это калоши счастья, но они были как раз кстати в такую дурную погоду, и он надел их. Теперь оставалось только пролезть между железными прутьями, чего ему еще ни разу не случалось пробовать.

– Помоги Бог только просунуть голову! – сказал студент, и голова его, несмотря на всю свою величину и толщину, сразу проскочила между прутьями, – это было дело калош.

Теперь очередь была за туловищем, но с ним-то и пришлось повозиться.

– Ух! Я чересчур толст! – сказал студент. – А я думал, что труднее всего будет просунуть голову! Нет, мне не пролезть!

И он хотел было поскорее выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Шею он мог поворачивать как угодно, но на этом дело и кончалось. Сначала студент наш рассердился, но потом расположение его духа быстро упало на нуль. Калоши счастья поставили его в ужаснейшее положение, и, к несчастью, ему не приходило в голову пожелать освободиться; он только неустанно вертел шей и – не двигался с места. Дождь лил как из ведра, на улицах не было ни души, до колокольчика, висевшего у ворот, дотянуться было невозможно – как тут освободиться! Он предвидел, что ему, пожалуй, придется простоять в таком положении до утра и тогда уж послать за кузнецом, чтобы он перепилил прутья. Дело, однако, делается не так-то скоро, и пока то да се – успеют подняться на ноги все школьники и жители Новой слободки; все сбегутся и увидят его в этой позорной железной клетке!

– Уф! Кровь так и стучит в виски! Я готов с ума сойти! Да и сойду! Ах, если бы мне только удалось освободиться!

Следовало бы ему сказать это пораньше! В ту же минуту голова его освободилась, и он опрометью кинулся назад, совсем ошалев от страха, который только что испытал благодаря калошам счастья.

Не думайте, однако, что дело этим и кончилось, – нет, будет еще хуже.

Прошла ночь, прошел день, а за калошами никто не являлся.

Вечером давалось представление в маленьком театре на улице Каноников. Театр был полон; между прочими номерами представления было продекламировано стихотворение «Тетушкины очки»; в нем говорилось о чудесных очках, в которые можно было видеть будущее.

Стихотворение было прочитано превосходно, и чтец имел большой успех. Среди публики находился и наш студент-медик, который, казалось, успел уже позабыть приключение предыдущего вечера. Калоши опять были у него на ногах – за ними никто не пришел, а на улицах было грязно, и они опять сослужили ему службу.

Стихотворение очень ему понравилось.

Он был бы не прочь иметь такие очки: надев их, пожалуй, можно было бы, при известном искусстве, читать в сердцах людей, а это ведь еще интереснее, нежели провидеть будущее, – последнее и без того узнается в свое время.

«Вот, например, – думал студент, – тут, на первой скамейке, целый ряд зрителей; что, если бы проникнуть в сердце каждого? В него, вероятно, есть же какой-нибудь вход, – вроде как в лавочку, что ли!.. Ну и насмотрелся бы я! Вот у этой барыни я, наверно, нашел бы в сердце целый модный магазин! У этой – лавочка оказалась бы пустой; не мешало бы только почистить ее хорошенько! Но, конечно, нашлись бы и солидные магазины! Ах! Я даже знаю один такой, но... в нем уже есть приказчик! Вот единственный недостаток этого чудного магазина! А из многих, я думаю, закричали бы: „К нам, к нам, пожалуйста!“ Да, я бы с удовольствием прогулялся по сердцам, в виде маленькой мысли, например».

Калошам только того и надо было. Студент вдруг весь съезжился и начал в высшей степени необычайное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, принадлежало даме, но в первую минуту ему почудилось, что он в ортопедическом институте – так называется заведение, где доктора лечат людей с разными физическими недостатками и

уродливостями, – и в той именно комнате, где по стенам развешаны гипсовые слепки с уродливых частей человеческого тела; вся разница была в том, что в институте слепки снимаются, когда пациент приходит туда, а в сердце этой дамы они делались уже по уходе добрых людей: тут хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг.

Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось ему просторным, святым храмом; белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колени, но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Это последнее показалось ему бедною каморкой, где лежала больная мать; через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в то время как больная мать молилась за дочь.

Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду наткнулся на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в адрес-календаре.

Оттуда студент попал в сердце его супруги; это была старая, полуразвалившаяся голубятня; портрет мужа служил флюгером; к нему была привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в которую сторону поворачивался супруг.

Потом студент очутился в зеркальной комнате, вроде той, что находится в Росенборгском дворце, но зеркала увеличивали все в невероятной степени, а посреди комнаты сидело, точно какой-то далай-лама, ничтожное «я» данной особы и благоговейно созерцало свое собственное величие.

Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся, – это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего за «человека с умом и сердцем».

Совсем ошеломленный, очутился, наконец, несчастный студент на своем месте и долго-долго не мог опомниться, – нет, положительно фантазия его уж чересчур разыгралась!

«Господи боже мой! – вздыхал он про себя. – Я, кажется, в самом деле начинаю сходиться с ума. Да и что за непозволительная жара здесь! Кровь так и стучит в виски! – Тут ему вспомнилось вчерашнее приключение, когда голова у него застряла меж прутьев больничной решетки. – Да, да, вот оно, начало всего! – думал он. – Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!»

В ту же минуту он и лежал там, но лежал одетый, в сапогах и калошах; на лицо ему капала с потолка горячая вода.

– Уф! – закричал он и побежал взять душ.

Банщик тоже громко закричал, увидав в бане одетого человека.

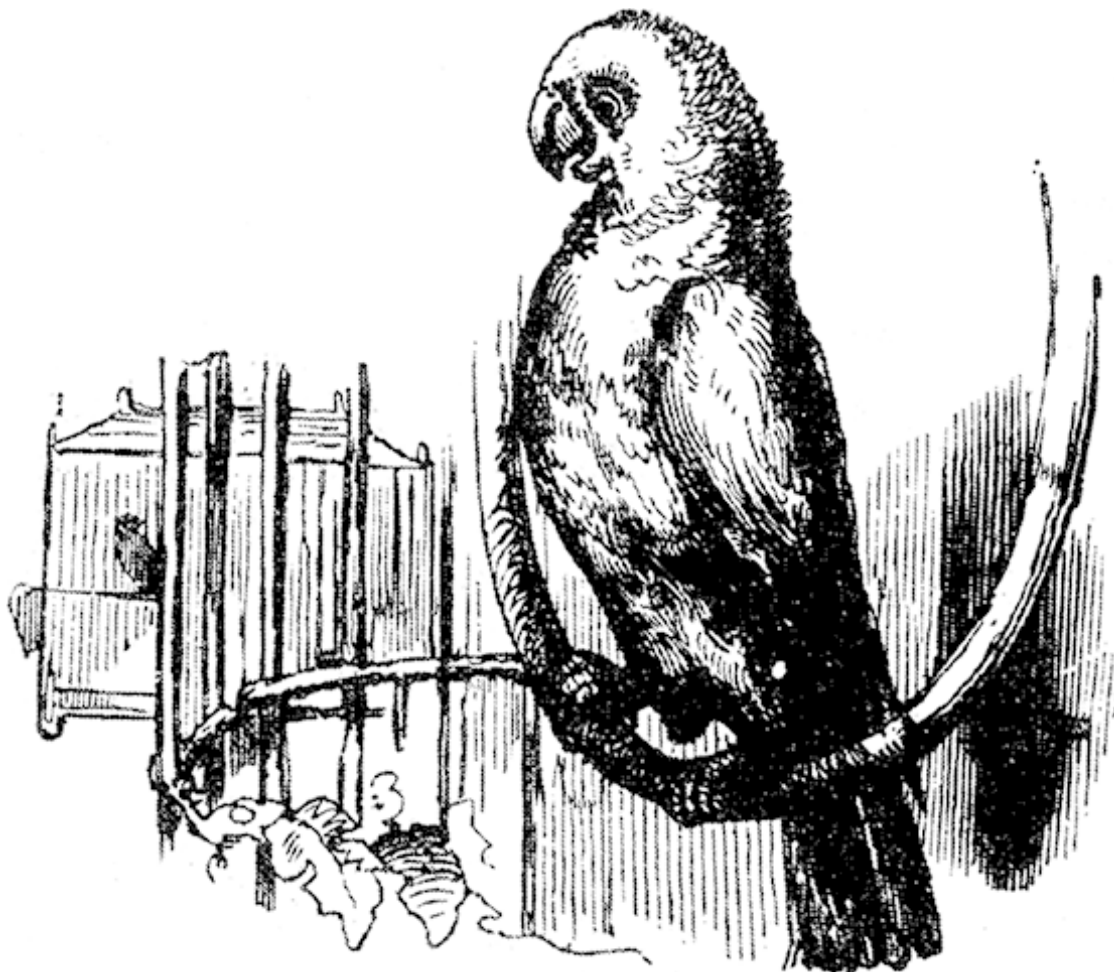
Студент, однако, не растерялся и шепнул ему:

– Это на пари!

Придя домой, он, однако, закатил себе две шпанских мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы выгнать помешательство.

Наутро вся спина у него была в крови; вот и все, что принесли ему калоши счастья.

5. Превращение письмоводителя



Ночной сторож, которого мы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах и явился за ними. Ни офицер, ни кто другой из обывателей той улицы не признал, однако, их за свои, и калоши снесли в полицию.

– Точь-в-точь мои, – сказал один из господ полицейских письмоводителей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоявшие рядом, – сам мастер не отличил бы их друг от друга!

– Господин письмоводитель! – сказал вошедший с бумагами полицейский.

Письмоводитель обернулся к нему и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, которые были его собственными: те ли, что стояли слева, или что справа?

«Должно быть, вот эти мокрые – мои!» – подумал он, да и ошибся: это были как раз калоши счастья; но почему ж бы и служителю полиции не ошибиться иногда? Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку – ему надо было просмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться в Фредриксбергский сад.

Пожелаем же этому тихому, трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки – ему вообще полезно было прогуляться после продолжительного сидения в канцелярии.

Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу.

В аллее письмоводитель встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает путешествовать.

– Опять уезжаете! – сказал письмоводитель. – Счастливым вы народ, свободный! Порхаете себе куда хотите, не то что мы! У нас цепи на ногах!

– Они приковывают вас к хлебному местечку! – отвечал поэт. – Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получите пенсию!

– Нет, все-таки вам живется лучше! – сказал письмоводитель. – Писать стихи – это удовольствие! Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе господа! А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии да повозиться с этими пошлыми делами!

Поэт покачал головой, письмоводитель тоже, каждый остался при своем мнении, с тем они и распрощались.

«Совсем особый народ эти поэты! – подумал письмоводитель. – Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы не писал таких ноющих стихов, как другие! Сегодня как раз настоящий весенний день для поэта! Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы! А что за запах, что за благоухание! Да, никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня!»

Замечаете? Он уже стал поэтом, хотя на вид и не изменился нисколько: нелепо ведь предполагать, что поэты – какая-то особая порода людей; и между обыкновенными смертными могут встречаться натуры куда более поэтические, нежели многие признанные поэты; вся разница в том, что у поэтов более счастливая духовная память, позволяющая им крепко хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они, наконец, ясно и точно не выльются в словах и образах. Сделаться из простого, обыкновенного человека поэтической натурой, впрочем, все же своего рода превращение, и вот оно-то и произошло с письмоводителем.

«Какой чудный аромат! – думал он. – Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны! Да, я был тогда еще ребенком! Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старая тетушка! Она жила там, за Биржей! У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зелененькие веточки или отростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим оконным стеклам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие кругленькие отверстия для глаз. Вот была панорама! На канале стояли пустые зазимовавшие корабли со стаями каркавших ворон вместо команды. Но вот наступала весна, и на них закипала работа, раздавались песни и дружные «ура» рабочих, подрубавших вокруг кораблей лед; корабли смолились, конопатились и затем отплывали в чужие страны. А я оставался! Мне было суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляли себе заграничные паспорта! Вот моя доля! Увы!»

Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился.

«Что это, право, делается со мной сегодня? Никогда еще не задавался я такими мыслями и чувствами! Это, должно быть, действие весеннего воздуха! И жутко и приятно на душе! – И он схватился за бумаги, бывшие у него в кармане. – Бумаги дадут моим мыслям другое направление. – Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел: „Сигбрита, трагедия в 5 действиях”. – Что такое?! Почерк, однако, мой... Неужели я написал трагедию? А это что? „Интрижка на валу, водевиль”. Нет, откуда же все это? Кто это подsunул мне? А вот еще письмо!»

Письмо было не из вежливых; автором его была театральная дирекция, забравшая обе упомянутые пьесы.

– Гм! Гм! – произнес письмоводитель и присел на скамейку.

Мысли у него так и играли, душа была как-то особенно мягко и нежно настроена; машинально сорвал он какой-то росший возле цветочек и засмотрелся на него. Это была простая ромашка, но в одну минуту она успела рассказать ему столько, сколько нам в пору узнать на нескольких лекциях ботаники. Она рассказала ему чудесную повесть о своем появлении на свет, о волшебной силе солнечного света, заставившего распусться и благоухать ее нежные

лепесточки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей дремлющие в груди человека силы. Да, воздух и свет – возлюбленные цветка, но свет является избранником, к которому постоянно тянется цветок; когда же свет гаснет, цветок свертывает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха.

– Свету я обязана своею красотой! – говорила ромашка.

– А чем бы ты дышала без воздуха? – шепнул ей поэт.

Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по канавке; брызги мутной воды так и летели в зеленую траву, и письмоводитель стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетающих вместе с каплями воды на заоблачную для них – в сравнении с их собственной величиной – высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, письмоводитель улыбнулся: «Я просто сплю и вижу сон! Удивительно, однако, до чего сон может быть живым! И все-таки я отлично сознаю, что это только сон. Хорошо, если бы я вспомнил завтра поутру все, что теперь чувствую; теперь я удивительно хорошо настроен: смотрю на все как-то особенно здраво и ясно, чувствую какой-то особый подъем духа. Увы! Я уверен, что к утру в воспоминании у меня останется одна чепуха! Это уже не раз бывало! Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото гномов, – при дневном свете оно оказывается кучею камней и сухих листьев. Увы!»

Письмоводитель грустно вздохнул и поглядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек.

«Им живется куда лучше нашего! Умение летать – завидный дар! Счастлив, кто родился с ним! Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я пожелал бы быть таким маленьким жаворонком!»

В ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перышками, а калоши когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя: «Ну, теперь я вижу, что сплю! Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть!» Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии – он перестал быть поэтом: калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело зараз: хотел он стать поэтом и стал, захотел превратиться в птичку и превратился, но зато утратил уже прежний свой дар.

«Недурно! – подумал он. – Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в Фредриксбергском саду! Вот сюжет для народной комедии!»

И он слетел на траву, вертел головкой и пощипывал клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмовыми ветвями.

Вдруг кругом него сделалось темно, как ночью, – на него был брошен какой-то огромный, как ему показалось, предмет; это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила письмоводителя за хвост и за крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул:

– Ах ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский письмоводитель!

Но мальчуган расслышал только «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней своею дорогой.

В аллее встретились ему два школьника из высшего класса, то есть по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за восемь скиллингов, и вот письмоводитель вновь вернулся в город и попал в одно семейство, жившее на Готской улице.

«Хорошо, что это сон, – думал письмоводитель, – не то бы я, право, рассердился! Сперва я был поэтом, потом стал жаворонком! Моя поэтическая натура и заставила меня пожелать превратиться в это крошечное созданище! Довольно печальная участь, однако! Особенно если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится?»

Мальчики принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила толстая улыбающаяся барыня; она не особенно обрадовалась простой полевой птице, так она назвала жаворонка, хотя и позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне.

– Может быть, она позабавит попочку! – сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся в кольце в своей великолепной металлической клетке. – Сегодня попочкино рождение, – продолжала она глупо-наивным тоном, – и полевая птичка пришла его поздравить!

Попочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная с своей теплой, благоухающей родины.

– Крикунья! – сказала барыня и набросила на клетку белый носовой платок.

– Пип, пип! Какая ужасная метель! – вздохнула канарейка и умолкла.

Письмоводитель, или, как назвала его барыня, полевая птица, был посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человеческим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично: «Нет уж, будем людьми!» Все остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетание канарейки; непонятно для людей, а не для письмоводителя, который сам был теперь птицей и отлично понимал своих собратьев.

– Я летала под тенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев! – пела канарейка. – Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, откуда нам приветливо кивал зеленый тростник. Я видела там прелестных попугаев, умевших рассказывать забавные сказки, без конца, без счета!

– Дикие птицы! – ответил попугай. – Без всякого образования. Нет уж, будем людьми!.. Что ж ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться! Это большой недостаток – не уметь ценить забавных остроумцев. Нет уж, будем людьми!

– Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью усыпанных цветами деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений?

– О да! – сказал попугай. – Но здесь мне гораздо лучше! Меня хорошо кормят, и я свой в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет уж, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, я же обладаю основательными познаниями и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности, ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится – я обошелся им подороже! К тому же я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык! Нет уж, будем людьми!

– О моя теплая, цветущая родина! – пела канарейка. – Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где ветви лобызают прозрачные волны, где растут «водоемы пустыни»; стану воспевать радость моих блестящих братьев и сестер!

– Оставь ты свои ахи и охи! – сказал попугай. – Состри-ка лучше да посмеши нас! Смех – признак высшего умственного развития. Ведь ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать; смех – это высший дар, отличающий человека! Хо, хо, хо! – захохотал попугай и опять сострил: – Нет уж, будем людьми!

– И ты попалась в плен, серенькая датская птичка! – сказала канарейка жаворонку. – В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна! Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя; форточка открыта, улетай, улетай!

Письмоводитель так и сделал, выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетку, попугай захлопал крыльями и закричал:

– Нет уж, будем людьми!

Письмоводителя охватил смертельный ужас, и он полетел в форточку на улицу, летел, летел, наконец устал и захотел отдохнуть.

Соседний дом показался ему знакомым; одно окно было открыто, он влетел в комнату – это была его собственная комната – и сел на стол.

– Нет уж, будем людьми! – сказал он, бессознательно повторяя остроу попугая, и в ту же минуту стал опять письмоводителем, но оказалось, что он сидит на столе!

– Господи помилуй! – сказал он. – Как это я попал сюда да еще заснул! И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!

6. Лучшее, что сделали калоши



На другой день, рано утром, когда письмоводитель еще лежал в постели, в дверь постучали и вошел сосед его, студент-богослов.

– Одолжи мне твои калоши! – сказал он. – В саду еще сыро, но солнышко так и сияет, – пойду выкурить на воздухе трубочку!

Надев калоши, он живо сошел в сад, в котором было одно грушевое и одно сливовое дерево, но даже и такой садик считается в Копенгагене большой роскошью.

Богослов ходил взад и вперед по дорожке; было всего шесть часов утра; с улицы донесся звук почтового рога.

– О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире! – промолвил он. – Это высшая, заветная цель моих стремлений! Удастся мне достигнуть ее, и эта внутренняя

тревога моего сердца и помыслов уляжется. Но я так и рвусь вдаль! Дальше, дальше... видеть чудную Швейцарию, Италию...

Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, чересчур далеко и для себя, и для нас! И вот он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с восьмью другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги жали нестерпимо. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали переводные векселя на банкирские конторы, в левом паспорт, а на груди мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами; стоило богослову задремать, и ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна; дрожь пробежала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник – справа налево и на грудь, – чтобы удостовериться в целостности всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы и порядочно мешали ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел, смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишие, которое сложил во время путешествия по Швейцарии, не предназначая его, однако, для печати, один небезызвестный нам поэт:

Да, хорошо здесь! И Монблан
Я вижу пред собой, друзья!
Когда б к тому тугой карман,
Вполне счастливец был бы я!

Окружающая природа была сурово-величава; сосновые леса на вершинах высоких гор казались каким-то вереском; начал порошить снег, подул резкий холодный ветер.

– Брр! Если бы мы были по ту сторону Альп, у нас было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям! Из страха потерять их я и не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если б мы уже были по ту сторону Альп!

И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем; здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы; прелестные полунагие дети пасли на дороге, под тенью цветущих лавровых деревьев, черных как смоль свиней. Да, если изобразить все это красками на полотне, все захали бы: «Ах, чудная Италия!» Но ни богослов, ни его дорожные товарищи, сидевшие в почтовой карете, не говорили этого.

В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые кусали и жалили их немилосердно; в карете не оставалось ни одного человека, у которого бы не было искусано и не распухло все лицо. Бедные лошади походили на какую-то падаль – мухи облепили их роями; кучер иной раз слезал с козел и сгонял с несчастных животных их мучителей, но только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод; это было совсем неприятно, зато облака и горы окрасились в чудные блестящие зеленоватые тона. Да, надо видеть все это самому: никакие описания не могут дать об этом настоящего понятия. Зрелище было бесподобное, с этим согласились все пассажиры, но... желудок был пуст, все тело просило отдыха, все мечты неслись к ночлегу, а каков-то еще он будет? И все больше занимались этими вопросами, нежели красотами природы.

Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами; наконец, добрались до одинокой гостиницы. У входа расположилось с десятков нищих калек; самый бодрый из них смотрел «достигшим совершеннолетия старшим сыном голода», другие были или слепы, или с высохшими ногами и ползали на руках, или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. «*Excellenza, miserabili!*»⁸ – стонали они и выставляли напоказ изуродованные члены. Сама хозяйка гости-

⁸ Господин, сжальтесь! (ит.)

ницы встретила путешественников босая, с непричесанной головой и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и связывались попросту веревочками, кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, на потолках гнездились летучие мыши, а уж воздух!..

– Пусть накроют нам стол в конюшне! – сказал один из путников. – Там все-таки знаешь, чем дышишь!

Открыли окна, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье: «*Excellenza, miserabili!*» Все стены были покрыты надписями; половина из них бранила *bella Italia*⁹!

Подали обед: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат с таким же маслом, затем, как главные блюда, протухшие яйца и жареные петушки гребешки; вино и то отзывалось микстурой.

На ночь двери были заставлены чемоданами; один из путешественников стал на караул, другие же заснули. Караульным пришлось быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, *miserabili* стонали во сне!

– Да, путешествие – вещь хорошая! – вздохнул богослов. – Только бы у нас не было тела! Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда я ни явлюсь, в душе все та же тоска, та же тревога... Я стремлюсь к чему-то лучшему, высшему, нежели все эти земные мгновенные радости. Да, к лучшему, но где оно и в чем?.. Нет, я знаю, в сущности, чего я хочу! Я хочу достигнуть блаженной цели земного странствования!

Слово было сказано, и он был уже на родине, у себя дома; длинные белые занавеси были спущены, и посреди комнаты стоял черный гроб; в нем лежал богослов. Его желание было исполнено: тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу!» – сказал Солон, и его слова подтвердились еще раз.

Каждый умерший представляет собой загадку, бросаемую нам в лицо вечностью, и эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала нам на вопросы, которые задавал сам человек за каких-нибудь два-три дня до смерти.

О смерть всесильная, немая,
Твой след – могилы без конца!
Увы, ужели жизнь земная
Моя увянет, как трава?
Ужели мысль, что к небу смело
Стремится, сгинет без следа?
Иль купит дух страданьем тела
Себе бессмертия венец?..

В комнате появились две женские фигуры; мы знаем обеих, то были фея Печали и посланница Счастья; они склонились над умершим.

– Ну, – сказала Печаль, – много счастья принесли твои калоши человечеству?

– Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они доставили прочное счастье! – отвечала Счастье.

– Нет! – сказала Печаль. – Он ушел из мира самовольно, не быв отозванным! Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько, чтобы он мог унаследовать те небесные сокровища, которые были ему уготованы. Я окажу ему благодеяние!

И она стащила с ног умершего калоши; смертный сон был прерван, и воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши; она, должно быть, сочла их своей собственностью.

⁹ Чудную Италию! (ит.)

1838

Ромашка



Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем – желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать Божию. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его звонких песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! – думала она. – Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки – им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавки. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости

прелестная певунья птичка! Слава богу, что я стою так близко – увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в травку, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы – они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить, – досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепесточки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветочек опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о воздушном просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце – она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепесточки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

– Вот здесь можно вырезать славный кусочек дерна для нашего жаворонка! – сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

– Давай вырвем цветок! – сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

– Нет, пусть лучше останется! – сказал первый из мальчиков. – Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

– Тут нет воды! – жаловался жаворонок. – Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Как здесь душно! Ах, я умираю, прощай, красное солнышко, и свежая зелень, и весь Божий мир!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил свой клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

– И ты завянешь здесь, бедный цветочек! Тебя да этот клочок зеленого дерна – вот что они дали мне взамен всего Божьего мира! Каждая травинка должна быть для меня зеленым деревцом, каждый твой лепесток – благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» – думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропела:

– Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок, и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как бывало: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчишки и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку – его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о цветочке, который все-таки больше всех любил бедную птичку и всем сердцем желал ее утешить.

1838

Стойкий оловянный солдатик



Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были:

«Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был об одной ноге. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, – она была танцовщицей, – а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик совсем не мог видеть ее, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! – подумал он. – Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки – они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувырчался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик; она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! – табакерка раскрылась. Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль; табакерка-то была с фокусом!

– Оловянный солдатик, – сказал тролль, – нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

– Ну, постой же! – сказал тролль.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг – по милости ли тролля или от сквозняка – окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа – только в ушах засвистело! Минута – и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его и каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» – они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице; он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул настоящий ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

– Гляди! – сказал один. – Вон оловянный солдатик. Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло – немудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки; стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? – думал он. – Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица, – по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

– Паспорт есть? – спросила она. – Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и только крепко держал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

– Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, там, где кончались мостки, канавка впадала в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Канал был уже совсем близко и остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему в струнку и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два – наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,
И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделяла самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и – чего-чего не бывает на свете! – он очутился в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял в полном освещении; ему было ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего – от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатiku, вспыхнула разом и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко – все, что осталось от солдатика; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

1838

Дикие лебеди



Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть – все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных деток. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок, которых им давали обычно сколько угодно, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню к каким-то крестьянам, а прошло еще несколько времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

– Летите-ка подбру-поздорову на все четыре стороны! – сказала злая королева. – Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось, – они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком – других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щечке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» – розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листья, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» – книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы и ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную купальню, убранную чудными коврами и мягкими подушками, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

– Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она станет такую же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! – сказала она другой. – Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! – шепнула королева третьей жабе. – Пусть она станет злонравной и мучится от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто же стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так стосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стояла полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде, – нет, они описывали все, что видели и пережили. Картинки же в книжке были живые; птицы распевали, а люди соскакивали со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист – они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко, она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев, но отдельные лучи его пробивались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве: от зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке послышалось журчание воды – оказалось, что несколько ручейков стекалось здесь в пруд с чудным песчаным дном. Правда, вокруг густо росли кусты, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевелил ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, – так ясно они отражались в зеркале вод.

Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась – такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потеряла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в чистую прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды из горсточки и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее: это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не бывала в такой глуши.

Ночью стало еще темнее; во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.

– Нет, – сказала старушка, – но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простершие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым в их естественном положении не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они таки добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные камушки, выброшенные на берег морем, – вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы: стекло, железо и камни – тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и наконец шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли – росы или слез, кто знает?

Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого; море представляло собою вечное разнообразие; в несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год на берегу пресных озер. Находила большая черная туча, ветер крепчал, и море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» – начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, – море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но как бы тихо оно ни покоилось, у берега постоянно было заметно легкое волнение – вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидела вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; всех лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинной белой лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за кустик. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться: сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как жестоко поступила с ними мачеха.



– Мы, братья, – сказал самый старший, – летаем дикими лебедями весь день, пока солнце стоит на небе; когда же оно заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю; случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы со страшной высоты. Живем же мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли переночевать. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище; не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины – и теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в

год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

– Как бы мне освободить вас от чар? – спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

– Завтра мы должны улететь отсюда и не смеем вернуться раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! – сказал младший брат. – Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Я достаточно силен, чтобы на руках пронести тебя через лес, – неужели же все наши крылья не смогут перенести тебя через море?

– Да, возьмите меня с собой! – сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкой ивовой коры и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой сестрицей, спавшей еще крепким сном, к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему – она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, казался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако – настоящая гора! – и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина, каких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные теневые картины мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного: теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, разыгралась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце, – одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг полетели вниз с невероятной быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают; но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидела под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот

лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно миллионы лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с блестящими снежными вершинами; среди гор возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не туда ли они летят, но лебеди покачали головами; ведь она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы; человеку путь туда заказан. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок рухнули, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза взгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, – так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.

– Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! – сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

– Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! – сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

«Твоих братьев можно спасти, – сказала она. – Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки точит камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетишь из них одиннадцать кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!»

И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда упала слезинка, исчезали жгучие волдыри и утихала боль.

Ночь Элиза провела за своей работой; отдых не шел ей на ум; она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не летело для нее с такой быстротой. Одна кольчуга была готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе – никогда еще не встречал он такой красавицы!

– Как ты попала сюда, прелестное дитя? – спросил он, но Элиза только покачала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает.

– Пойдем со мной! – сказал он. – Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце!



И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: – Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля, с колокольнями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала, безучастно отдалась она в руки прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Но она даже ни разу не улыбнулась; казалось, что грусть и тоска навеки стали ее уделом. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

– Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! – сказал король. – Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела; она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них – она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, – зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но – увы! – она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну кольчугу за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что может найти такую крапивицу на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце! – думала Элиза. – Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунною ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы-ламии; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и тарасили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась во дворец.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее – архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатались по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от его глаз. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блестящие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть

на месте королевы. Тем временем работа приближалась к концу; недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога.

Элиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидели, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король отвернулся; между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

– Пусть судит ее народ! – сказал он.

И народ присудил – сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подzemелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие кольчуги подстилкой и одеялом; но дороже всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмежавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл – это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы – так обещал он королю, – но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы задаром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, всю ночь утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их пустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было – над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные, длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять кольчуг лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Чернь глумилась над нею.

– Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках – нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям телеги и шумно захлопали могучими крыльями. Испуганная чернь отступила.

– Это знамение небесное! Она невинна, – шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать кольчуг, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хва-

тало одной руки, вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела закончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава.

– Теперь я могу говорить! – сказала она. – Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев – так подействовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль.

– Да, она невинна! – сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от миллионов роз, – это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!

1838

Эльф розового куста



В саду красовался розовый куст, весь усыпанный чудными розами. В одной из них, самой прекрасной меж всеми, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его и не разглядеть было. За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он был удивительно нежен и мил, ну точь-в-точь хорошенький ребенок, только с большими крыльями за плечами. А какой аромат стоял в его комнатах, как красивы и прозрачны были их стены! То были ведь нежные лепестки розы.

Весь день эльф играл на солнышке, порхал с цветка на цветок, плясал на крыльях у резвых мотыльков и подсчитывал, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на одном липовом листе. За дорожки и тропинки он принимал жилки

листа, да они и были для него бесконечными дорогами! Раз не успел он обойти и половины их, глядь – солнышко уж закатилось; он и начал-то, впрочем, не рано.

Стало холодно, пала роса, подул ветер, эльф рассудил, что пора домой, и заторопился изо всех сил, но когда добрался до своей розы, оказалось, что она уже закрылась и ему нельзя было попасть в нее; успели закрыться и все остальные розы. Бедный крошка эльф перепугался: никогда еще не оставался он на ночь без приюта, всегда сладко спал между розовыми лепестками, а теперь!.. Ах, верно, не миновать ему смерти!

Вдруг он вспомнил, что на другом конце сада есть беседка, вся увитая чудеснейшими каприфолиями; в одном из этих больших пестрых цветков, похожих на рога, он и решил проспать до утра.

И вот он полетел туда. Тсс! Тут были люди: красивый молодой человек и премиленькая девушка. Они сидели рядышком и хотели бы век не расставаться – они так горячо любили друг друга, куда горячее, нежели самый добрый ребенок любит своих маму и папу.

– Увы! Мы должны расстаться! – сказал молодой человек. – Твой брат не хочет нашего счастья и потому отправляет меня с поручением далеко-далеко за море! Прощай же, дорогая моя невеста! Я все-таки имею право назвать тебя так!

И они поцеловались. Молодая девушка заплакала и дала ему на память о себе розу, но сначала запечатлела на ней такой крепкий и горячий поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф сейчас же влетел в него и прислонился головкой к нежным, душистым стенкам.

Вот раздалось последнее «прощай», и эльф почувствовал, что роза заняла место на груди молодого человека. О, как билось его сердце! Крошка эльф просто не мог заснуть от этой стукотни.

Недолго, однако, пришлось розе покоиться на груди. Молодой человек вынул ее и, проходя по большой темной роще, целовал цветок так часто и так крепко, что крошка эльф чуть не задохся. Он ощущал сквозь лепестки цветка, как горели губы молодого человека, сама роза раскрылась, словно под лучами полуденного солнца.

Тут появился другой человек – мрачный и злой, это был брат красивой молодой девушки. Он вытащил большой острый нож и убил молодого человека, целовавшего цветок, затем отрезал ему голову и зарыл ее вместе с туловищем в рыхлую землю под липой.

«Теперь о нем не будет и помина! – подумал злой брат. – Небось не вернется больше. Ему предстоял далекий путь за море, а в таком пути нетрудно проститься с жизнью; ну вот так оно и случилось! Вернуться он больше не вернется, и спрашивать о нем сестра меня не посмеет».

И он нашвырял ногами на то место, где схоронил убитого, сухих листьев и пошел домой. Но шел он во тьме ночной не один; с ним был крошка эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку липовом листке, упавшем злодею на голову в то время, как тот зарывал яму. Окончив работу, убийца надел на голову шляпу; под ней было страшно темно, и крошка эльф весь дрожал от ужаса и от негодования на злодея.

На заре злой человек воротился домой, снял шляпу и прошел в спальню сестры. Молодая цветущая красавица спала и видела во сне того, кого она так любила и кто уехал теперь, как она думала, за море. Злой брат наклонился над ней и засмеялся злобным, дьявольским смехом; сухой листок выпал из его волос на одеяло сестры, но он не заметил этого, и ушел к себе соснуть до утра. Эльф выкарабкался из сухого листка, приблизился к самому уху молодой девушки и рассказал ей во сне об ужасном убийстве, описал место, где оно произошло, цветущую липу, под которой убийца зарыл тело, и наконец добавил: «А чтобы ты не приняла всего этого за простой сон, я оставлю на твоей постели сухой листок». И она нашла этот листок, когда проснулась.

О, как горько она плакала! Но никому не смела бедняжка доверить своего горя. Окно стояло открытым целый день, крошка эльф легко мог выпорхнуть в сад и лететь к розам и другим цветам, но ему не хотелось оставлять бедняжку одну. На окне в цветочном горшке

росла роза; он уселся в один из ее цветов и глаз не сводил с убитой горем девушки. Брат ее несколько раз входил в комнату и был злобно весел; она же не смела и заикнуться ему о своем сердечном горе.

Как только настала ночь, девушка потихоньку вышла из дома, отправилась в рошу прямо к липе, разбросала сухие листья, разрыла землю и нашла убитого. Ах, как она плакала и молила Бога, чтобы он послал смерть и ей.

Она бы охотно унесла с собой дорогое тело, да нельзя было, и вот она взяла бледную голову с закрытыми глазами, поцеловала холодные губы и отряхнула землю с прекрасных волос.

– Оставлю же себе хоть это! – сказала она, зарыла тело и опять набросала на то место сухих листьев, а голову унесла с собой вместе с небольшою веточкой жасмина, который цвел в роше.

Придя домой, она отыскала самый большой цветочный горшок, положила туда голову убитого, засыпала ее землей и посадила жасминовую веточку.

– Прощай! Прощай! – прошептал крошка эльф; он не мог вынести такого печального зрелища и улетел в сад к своей розе, но она уже отцвела, и вокруг зеленого плода держалось всего два-три поблекших лепестка.

– Ах, как скоро приходит конец всему хорошему и прекрасному! – вздохнул эльф.

В конце концов он отыскал себе другую розу и уютно зажил между ее благоухающими лепестками. Но каждое утро летал он к окну несчастной девушки и всегда находил ее всю в слезах подле цветочного горшка. Горькие слезы ручьями лились на жасминовую веточку, и по мере того как сама девушка день ото дня бледнела и худела, веточка все росла да зеленела, пуская один отросток за другим. Скоро появились и маленькие бутончики; девушка целовала их, а злой брат сердился и спрашивал, не сошла ли она с ума; иначе он ничем не мог объяснить себе эти вечные слезы, которые она проливала над цветком. Он ведь не знал, чьи закрытые глаза, чьи розовые губы превратились в землю в этом горшке. А бедная сестра его склонила раз головку к цветку, да так и задремала; как раз в это время прилетел крошка эльф, прильнул к ее уху и стал рассказывать ей о последнем ее свидании с милым в беседке, о благоухании роз, о любви эльфов... Девушка спала так сладко, и среди этих чудных грез незаметно отлетела от нее жизнь. Она умерла и соединилась на небе с тем, кого так любила.

На жасмине раскрылись белые цветы, похожие на колокольчики, и по всей комнате разлился чудный, нежный аромат – только так могли цветы оплакать усопшую.

Злой брат посмотрел на красивый цветущий куст, взял его себе в наследство после умершей сестры и поставил у себя в спальне возле самой кровати. Крошка эльф последовал за ним и стал летать от одного колокольчика к другому; в каждом жил маленький дух, и эльф рассказывал им всем об убитом молодом человеке, о злом брате и о бедной сестре.

– Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и из губ убитого! – ответили духи цветов и при этом как-то странно покачали головками.

Эльф не мог понять, как могут они оставаться такими равнодушными, полетел к пчелам, которые собирали мед, и тоже рассказал им о злом брате. Пчелы пересказали это своей царице, и та решила, что все они на следующее же утро накажут убийцу.

А ночью – это была первая ночь после смерти сестры, – когда брат спал близ благоухающего жасминового куста, каждый колокольчик раскрылся, и оттуда вылетел невидимый, но вооруженный ядовитым копьём дух цветка. Все они подлетели к уху спящего и стали нашептывать ему страшные сны, потом сели на его губы и вонзили ему в язык свои ядовитые копыя.

– Теперь мы отомстили за убитого! – сказали они и опять спрятались в белые колокольчики жасмина.

Утром окно в спальне вдруг распахнулось, и влетели эльф и царица пчел со своим роем; они явились убить злого брата.

Но он уже умер. Вокруг постели толпились люди и говорили:

– Его убил сильный запах цветов.

Тогда эльф понял, что то была месть цветов, и рассказал об этом царице пчел, а она со всем своим роем принялась летать и жужжать вокруг благоухающего куста. Нельзя было отогнать пчел, и кто-то из присутствовавших хотел унести куст в другую комнату, но одна пчела ужалила его в руку, он уронил цветочный горшок, и тот разбился вдребезги.

Тут все увидели череп убитого и поняли, кто был убийца.

А царица пчел с шумом полетела по воздуху и жужжала о мести цветов, об эльфе и о том, что даже за самым крошечным лепестком скрывается кто-то, кто может рассказать о преступлении и наказать преступника.

1839

Райский сад

Жил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова: о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду – сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других – география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное – и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть какие-нибудь совсем другие прелести.

Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад наполнял все его мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек – он очень любил гулять один. Дело было к вечеру; набежали тучи, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода; настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями, на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные каменные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже готов был упасть от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было бы изжарить целого оленя; да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился великолепный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая сильная и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.



– Ну, подходи! – сказала она. – Присядь к огню да обсушись.

– Здесь ужасный сквозняк, – сказал принц, подсев к костру.

– Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! – отвечала женщина. – Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей – ветры. Понимаешь?

– А где твои сыновья?

– На глупые вопросы нелегко отвечать! – сказала женщина. – Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

– Вот как! – сказал принц. – Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык.

– Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! Да, я держу их в руках, даром что они у меня упрямые головы! Видишь вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилуюсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод; поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи шаровары и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.

– Не подходите сразу к огню! – сказал принц. – Вы отморозите себе лицо и руки!

– Отморозу! – сказал Северный ветер и громко захохотал. – Отморозу! Да лучше мороза, по мне, нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?

– Он мой гость! – сказала старуха. – А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понял?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

– Я прямо с Ледовитого океана! – сказал он. – Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

– Нельзя ли покороче! – сказала мать. – Ты был на Медвежьем острове?

– Да. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам со мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, – можно подумать, словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жильё, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пищали и разевали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки – небось живо отучились разевать рот! У самого моря валялись, будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками, моржи!

– Славно рассказываешь, сынок! – сказала мать. – Просто слюнки текут, как слушаешь!

– Ну а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед! Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям – ледяным горам – сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пересвистишь! Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины! А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами суда к югу – пусть похлебают солененькой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

– Так ты порядком набедокурил! – сказала мать.

– О добрых делах моих пусть расскажут другие! – сказал он. – А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он пахнет морем и дышит благодатным холодком.

– Так это маленький зефир? – спросил принц.

– Зефир-то зефир, только не из маленьких! – сказала старуха. – В старину и он был красивым мальчуганом, ну а теперь не то!

Западный ветер выглядел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, вон как!

– Где был? – спросила его мать.

– В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! – отвечал он.

– Что ж ты там делал?

– Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль и в ней возникает радуга. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекло его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспорхнули на воздух перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

– И это все? – спросила старуха.

– Еще я кувыркался по саваннам, гладил диких лошадей и сшибал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь; такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

– Экая у вас тут стужа! – сказал он и подбросил в костер дров. – Видно, что Северный первым успел пожаловать.

– Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! – возразил тот.

– Сам-то ты белый медведь! – сказал Южный.

– Что, в мешок захотели? – спросила старуха. – Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты.

– Из Африки, матушка, из земли кафров! – отвечал Южный ветер. – Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я доходил и до желтых песков пустыни – она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыне! А я принялся валяться по мелкому, мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купцы накинули на головы капюшоны и попадали передо мною ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники, по крайней мере, увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню!

– Ты, значит, только и делал одно зло! – сказала мать. – Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрянула в мешок; он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смиренно.

– Бойкие же у тебя сыновья! – сказал принц.

– Ничего себе! – отвечала она. – Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

– А, ты оттуда! – сказала мать. – Я думала, что ты был в Райском саду.

– Туда я полечу завтра! – сказал Восточный ветер. – Завтра будет ведь ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» – про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

– Шалун! – сказала старуха. – Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад, это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня!

– Хорошо! – сказал Восточный ветер. – Но за что ты посадила брата Южного в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой всё спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых два кармана зеленого свежего чая, только что с куста!

– Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок. Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы: еще бы, чужой принц видел, как его наказали.

– Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! – сказал он Восточному. – Я получил его от старой птицы Феникс, единственной на свете; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем как индусская вдова! Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горев-

шее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Теперь он царь над всеми птицами и единственная птица Феникс на свете. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку: это его поклон принцессе!

– Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! – сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали друзьями.

– Скажи-ка ты мне, – спросил принц у соседа, – что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

– Ого! – сказал Восточный ветер. – Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы туда не ступала нога человека! А это ты, наверное, знаешь из Библии?

– Знаю! – сказал принц.

– После того как они были изгнаны, – продолжал Восточный, – Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает Смерть! Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать!

И все заснули.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко; оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землей, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.

– С добрым утром! – сказал принцу Восточный ветер. – Ты мог бы еще поспать, смотреть-то пока не на что! Разве церкви вздумаешь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

– Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею матерью и твоими братьями! – сказал принц.

– Сонному приходится извинить! – сказал Восточный ветер, и они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью, точно плавающие лебеди, корабли.



Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, – так перебегают по зажженной бумаге, словно бегущие домой

шаловливые школьники, мелкие искорки. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче – немудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.

Быстро мчался над дремучими лесами дикий орел, но Восточный ветер мчался еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

– Ну вот тебе и Гималаи! – сказал Восточный ветер. – Это высочайшая горная цепь в Азии; скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлился сильный пряный аромат цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь в диком состоянии. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где цветы кивали ветру, как бы говоря: «Добро пожаловать!»

– Мы уже в Райском саду? – спросил принц.

– Что ты! – отвечал Восточный ветер. – Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой свесились, будто зеленые портьеры, виноградные лозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ: тут палит солнце, но один шаг – и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое – зимний холод!

– Так вот она, дорога в Райский сад! – сказал принц.

Брр... Как им стало холодно, но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Ах, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недостижимую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органами трубами и знаменами, выточеными из камня.

– Мы идем в Райский сад дорогой смерти! – сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собой рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и стали походить на белые облачка при лунном свете. Тут они вышли на вольный воздух – чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине и благоуханный, как в долине роз.

Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. В реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурно-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистою водою, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такою дивною музыкой, какой не может передать человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видывал. Удивительнейшие ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и начальных буквах старинных святцев. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения,

огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами прыгали, точно гибкие кошки, львы и тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка, с жемчужным отливом на перьях, хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть.

Но вот появилась сама фея; одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблестали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дальше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит древо познания добра и зла; в ветвях его прятался змий, а возле стояли Адам и Ева.

– Разве они не изгнаны? – спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались – ну вот как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидел на стекле сон Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время.

Фея, улыбаясь, ввела принца в огромный, высокий покой со стенами из прозрачных картин, – из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло дерево с пышными ветвями, среди которых сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было древо познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса, – дерево точно плакало кровавыми слезами.

– Сядем теперь в лодку! – сказала фея. – Там, над прохладной водой, мы отдохнем и подкрепимся! Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище: лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах, протяжно-жалобно прозвучал рог, и из долины неслась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов; поплыли стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Проплыли мимо вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы Севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга: еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

– И я могу здесь остаться навсегда? – спросил он.

– Это зависит от тебя самого! – отвечала фея. – Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

– Я не дотронусь до плодов познания добра и зла! – сказал принц. – Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

– Испытай себя, и если борьба покажется тебе слишком тяжелой, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но для греха и соблазна это достаточно долгий срок. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя: «Ко мне, ко мне!» Стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов; с каждым шагом тоска желанья будет в тебе усиливаться и наконец увлечет тебя в тот покой, где древо познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь – мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

– Я остаюсь! – сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

– Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крыльями, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы.

– Прощай! Прощай! – запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

– Теперь начнутся танцы! – сказала фея. – Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: «Ко мне! Ко мне!» Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игривыми сами собою золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и лилии окрасились в цвет чудеснейших роз. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел древо познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием; из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился голос его матери, певшей: «Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!»

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором улыбающиеся головки со стен зала. «Все нужно знать! Все надо изведать! Человек – царь па земле!» С дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» – звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

– Я должен идти! – говорил он. – В этом ведь нет и не может еще быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и сумею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

– Я еще не согрешил! – сказал принц. – Да и не сделаю этого!

С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какую может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

– Ты плачешь из-за меня? – прошептал он. – Не плачь, чудесная! Теперь только я понял райское блаженство; оно течет огнем в моей крови, воспаляет мысли. Силу херувима и вечную жизнь ощущаю я в моем брэнном теле. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь – одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.

Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца; фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая, сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он снова очнулся.

– Что я наделал! – вздохнул он. – Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

Он открыл глаза; вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда.

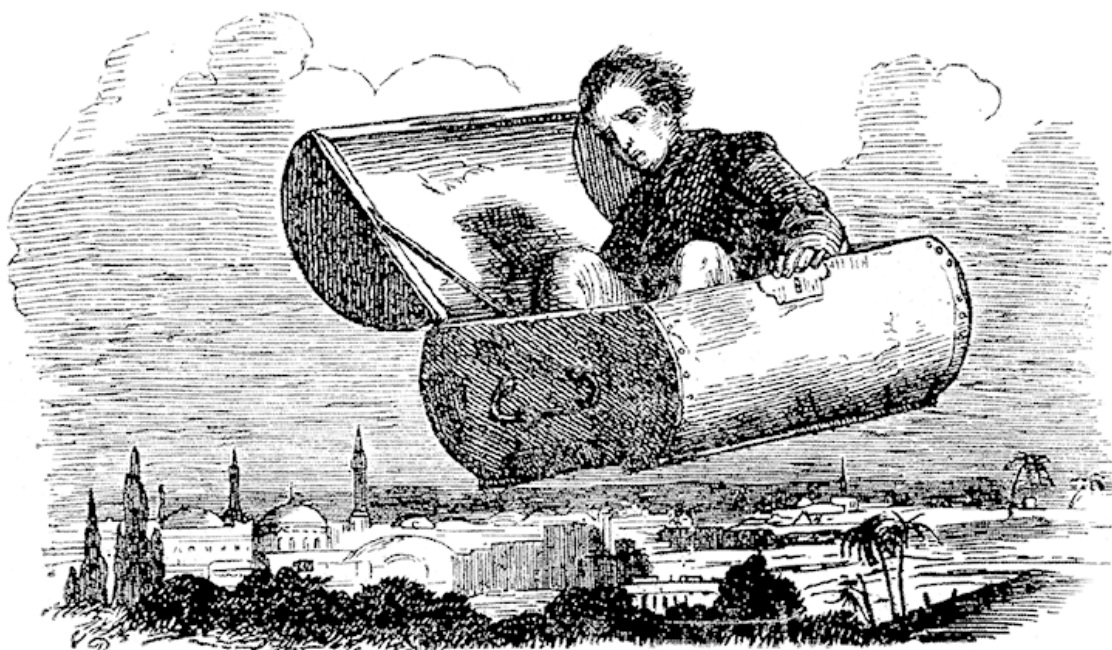
Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

– В первый же вечер! – сказала она. – Так я и думала! Да, будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

– Он еще попадет туда! – сказала Смерть – это был крепкий старик с косою в руке и большими черными крыльями за спиной. – И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда; если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет буду я приходить за ним, для того, чтобы он мог или погрузиться еще глубже, или остаться навеки на сияющей небесной звезде!

1839

Сундук-самолет



Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу; этого, однако, он не делал – он знал, куда девать деньги, и если тратил скиллинг, то наживал целый далер. Уж такой он был купец! Но вот он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь – в маскараде, пускал змеев из кредитных бумажек, а круги по воде – вместо камешков золотыми монетами. Немудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, и из платья – старый халат да пара туфель. Друзья и знать его больше не хотели – им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице; но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом: укладываться! Отлично; одно горе – нечего ему было укладывать; он взял да и уселся в сундук сам!

А сундук-то был непростой. Стоило нажать замок – и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! – сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, – только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги: славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город – тут ему было нечего стесняться своего наряда: в Турции все ведь ходят в халатах и туфлях.

На улице встретила его кормилица с ребенком, и он сказал ей:

– Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

– Тут живет принцесса! – сказала кормилица. – Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.

– Спасибо! – сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки о ее глазах: это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе: это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины; наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она сразу согласилась.

– Но вы должны прийти сюда в субботу! – сказала она ему. – Ко мне придут на чашку чаю король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, и вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше – мои родители очень любят сказки. Но мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша – веселое, чтобы можно было посмеяться.

– Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! – сказал купеческий сын.

Принцесса подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и недоставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чаю. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

– Ну-ка, расскажите нам сказку! – сказала королева. – Только что-нибудь серьезное и поучительное.

– Но чтобы и посмеяться можно было! – прибавил король.

– Хорошо! – отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

«Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: родоначальница их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

– Да, хорошо нам жилось, когда мы были еще зелеными веточками, – говорили они. – Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай – роса, день-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на летнюю и на зимнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и началась великая революция! И семья наша рассеялась по всему свету! Глава семьи – ствол получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить свечками для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие благородные господа, как мы!

– Ну, со мной не то было! – сказал котелок, рядом с которым лежали спички. – С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство – это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, немножко легкомысленна она, скажу я вам!

– Уж больно ты разболтался! – сказала вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. – Не устроить ли нам лучше вечеринку?

– Да, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех благороднее! – сказали спички.

– Нет, я не люблю говорить о самой себе, – сказала глиняная миска. – Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью датских буков...

– Чудесное начало! – сказали тарелки. – Вот это будет история как раз по нашему вкусу!

– Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

– Как вы интересно рассказываете! – сказала метелка. – В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

– Да, да! – сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

– Теперь мы попляшем! – сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула! – А нас увенчают? – спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» – думали спички.

Теперь была очередь за самоваром; он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что простужен и может петь лишь тогда, когда внутри его кипит, – он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка, в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что его слишком глубоко макали в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

– Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! – сказала оно. – За окном висит в клетке соловей – пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

– По-моему, это в высшей степени неприлично – слушать какую-то пришлую птицу! – сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. – Разве это патристично? Пусть рассудит корзинка для провизии!

– Я просто из себя выхожу! – сказала корзинка. – Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всем! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

– Давайте же шуметь! – закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и – все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать.

«Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» – думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! – думали они. – Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели».

– Чудесная сказка! – сказала королева. – Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

– Конечно! – сказал король. – Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему «ты» – он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» – подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипение!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели им через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись со своим сундуком в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И немудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, оказывается, видел и рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

– Я видел самого турецкого бога! – говорил один. – Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

– Он летел в огненном плаще! – рассказывал другой. – А из складок выглядывали прелестнейшие ангельчики.

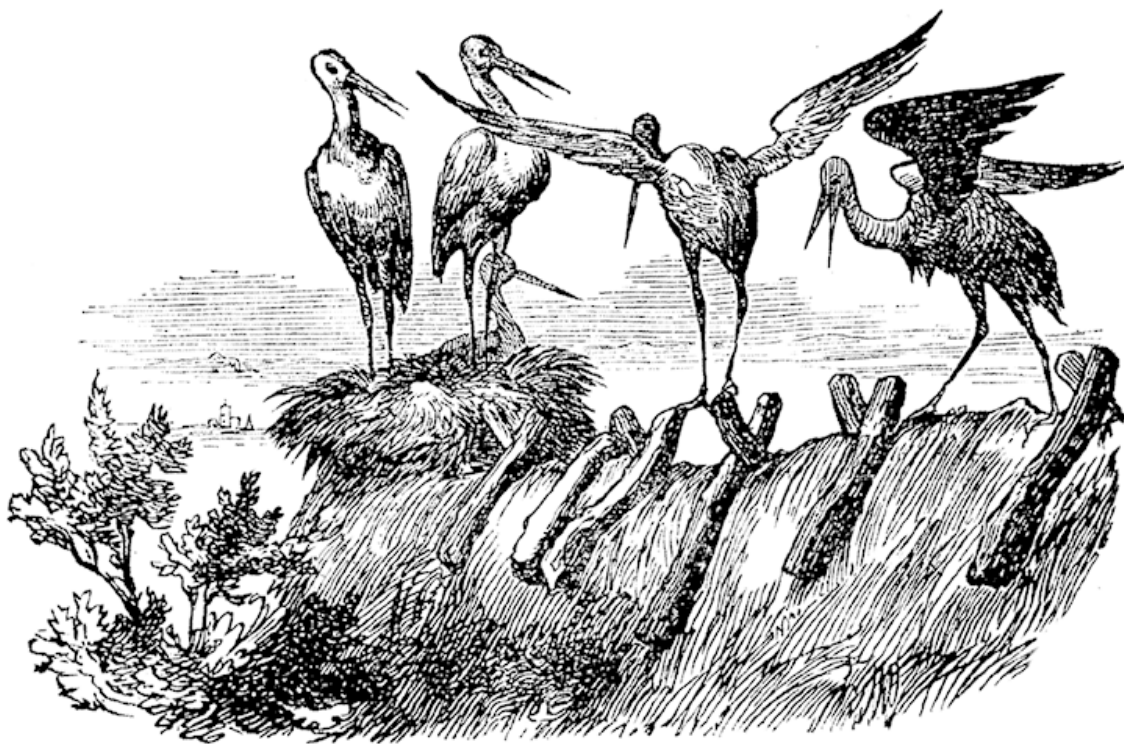
Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда ж он девался? Сгорел! Купеческий сын уронил в него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!

1839

Аисты



На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, – они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах просто так. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно так важно! – думал он. – У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играла толпа ребятишек; увидав аиста, самый храбрый из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?

Попусту хлопчешь, –
Мы изловим их.
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим.

– Послушай-ка, что поют мальчики! – сказали птенцы. – Они говорят, что нас повесят и утопят.

– Не нужно обращать на них внимания! – сказала им мать. – Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, его звали Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных.

А мать утешала птенцов.

– Не обращайтесь внимания! – говорила она. – Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

– А нам страшно, – сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головы в гнездо.

На другой день ребяташки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

– Так нас повесят и утопят? – опять спросили птенцы.

– Да нет же, нет! – отвечала мать. – А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их – вот будет веселье!

– А потом? – спросили птенцы.

– Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

– Так нас все-таки убьют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

– Слушайте меня, а не их! – сказала мать. – После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда вся страна превращается в болото. Ходишь себе по болоту и кушаешь лягушек!

– О! – сказали птенцы.

– Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми лоскутками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

– А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? – спросили птенцы.

– Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло несколько времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им вкусных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, шелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

– Ну, пора теперь и за ученье приняться! – сказала им в один прекрасный день мать, и всем четырем птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

– Смотрите на меня! – сказала мать. – Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! – И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и – бац! – все так и растянулись. Они были еще тяжелы на подъем.

– Я не хочу учиться! – сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. – Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

– Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

– Ай нет, нет! – сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. Но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчишки и запели:

Аист, аист белый...

– А что, слетим да выключим им глаза? – спросили птенцы.

– Нет, не надо! – сказала мать. – Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, кругом трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволяю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми – вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

– Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчишкам? – спросили птенцы.

– Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

– А мы все-таки отомстим! – шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребяташек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто, – он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты, и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше как перед самым отлетом их в теплые края.

– Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчишки ведь будут правы. Вот увидим!

– Увидишь! – сказали птенцы и усердно принялись за упражнения.

С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя – предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не кол с минусом, а пятерку с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло; лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

– Теперь будем мстить! – сказали они.

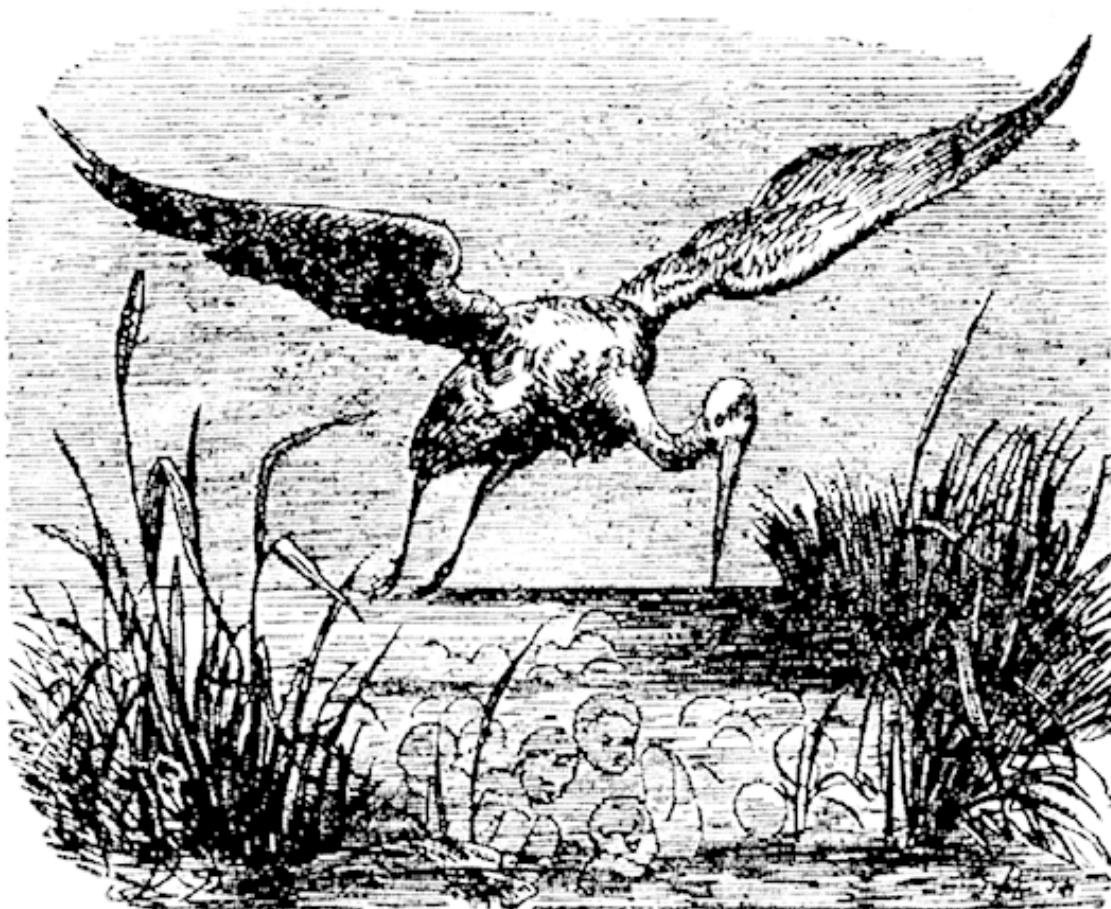
– Хорошо! – сказала мать. – Вот что я придумала – это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям – крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего!

– А тому злему, который первый начал дразнить нас, ему что будет? – спросили молодые аисты.

– В пруду лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти; его-то мы и отнесем злему мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, – надеюсь, вы не забыли его, – который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

1839



1840-е

Злой князь

Предание

Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День ото дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехать по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их в храмах, перед алтарем Господа, но священники сказали: «Князь, ты велик, но Бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

– Ладно! – сказал злой князь. – Так я покорю и Бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханым дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и наконец вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда Бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с невероятною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся

обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

– Я одолею Бога! – сказал князь. – Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! – И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но Бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и укутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых, солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить Бога и был сам побежден комариком!

1840

Оле-Лукойе



Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка приснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует – и головки у них сейчас отя-

желеют. Это совсем не больно – у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети утомнились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета – он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми: эти спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок – в неделе ведь семь дней.

Понедельник



– Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель. – Прежде всего я украшу комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а если бы вы захотели попробовать его – слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!

Вдруг послышались ужасные стоны из ящика стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы – это была пропись; возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!

– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!

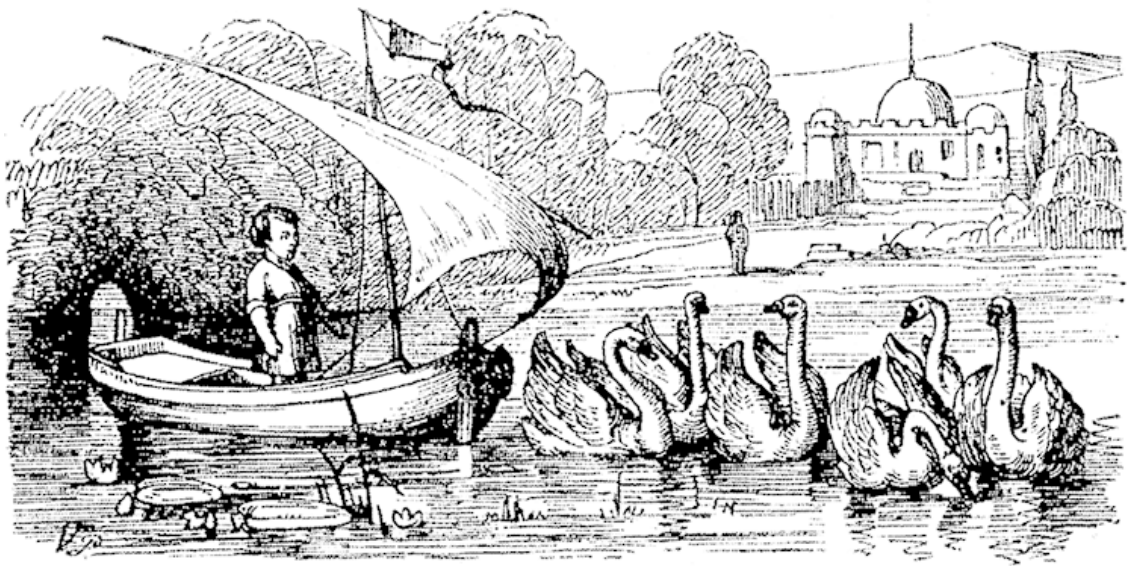
– Так я угощу вас касторкой! – сказал Оле-Лукойе.

– Ай, нет, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

– Ну, теперь нам не до сказок! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они смотрели такими же жалкими, как прежде.

Вторник



Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность; говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность; высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убогавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белою краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы – о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели; всем хотелось провозжать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот так было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю, но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его дождем изюма и оловянных солдатиков – вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидел ее; она кланялась, посылая ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидеть вновь хоть раз!

Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить?

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

Среда



Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

– Хочешь прокатиться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, – кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась у них из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и – бух! – упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

– Ишь какой! – сказали куры.

А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали.

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

– Ну не глуп ли он?

– Конечно, дурак! – сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

– Какие у вас чудесные тонкие ноги! – сказал индейский петух. – Почему аршин?

– Кряк! Кряк! Кряк! – закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

– Могли бы и вы посмеяться с нами! – сказал аисту индейский петух. – Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять сами себя!

И куры кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, – он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него сделался пунцовым.

– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие совершили они ночью с Оле-Лукойе!

Четверг

– Знаешь что? – сказал Оле-Лукойе. – Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. – Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

– А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.

– Уж положишься на меня! – сказал Оле-Лукойе. – Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с пальчик.

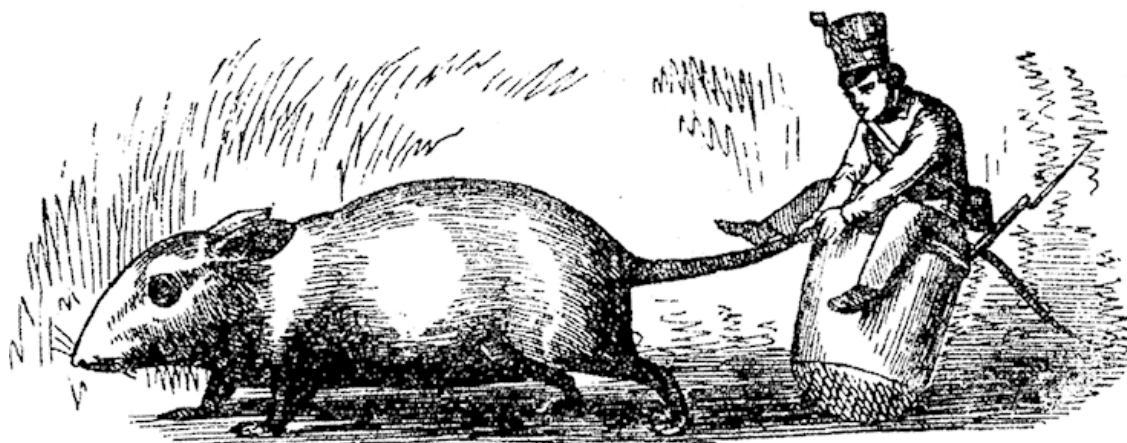
– Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

– Ну хорошо! – согласился Яльмар, и был наряжен чудеснейшим солдатиком.

– Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? – сказала Яльмару мышка. – Я буду иметь честь отвезти вас.

– Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, сударыня! – сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был празднично освещен гнилушками.



– Не правда ли, как хорошо здесь пахнет? – спросила мышка-возница. – Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, – мышки-кавалеры, по самой же середине, на выеденной корке сыра, возвышались сами

жених с невестой и ужасно целовались на глазах у всех. Что ж, они были ведь обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, а счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатной компании, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

Пятница



– Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заполучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, – говорят они мне, – мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! – добавляют они с глубоким вздохом. – Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

– Что будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.

– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет обвенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

– Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружье на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся комнатная мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружей,
Как ветер пусть несется!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовется.

Из лайки оба и торчат
На палках без движенья,
Зато роскошен их наряд –
Ну просто загляденье!

Итак, прославим песней их:
Ура, невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

– Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? – спросил молодой.

На совет пригласили бывалую путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была насадкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

– Зато там нет нашей зеленой капусты! – сказала курица. – Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копать сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

– Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.

– А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

– То-то и хорошо для капусты! – сказала курица. – Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть последней дрянью, чтобы не находить нашу страну самой лучшею в мире! Такая дрянь недостойна и жить в ней! – Тут курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала кукла Берта. – Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота



– А сегодня будешь рассказывать? – спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

– Сегодня некогда! – ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. – Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашку, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых, кивая головами, стояли маленькие китайцы.

– Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь святой день, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню – посмотреть, вычистили ли церковные домовые все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле – посмотреть, смёл ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!

– Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. – Спасибо! Ты – всей семьи голова, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; греки и римляне звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

– Ну уж, нельзя и своего мнения высказать! – сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

Воскресенье



– Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

– А теперь ты Расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иглой.

– Ну, хорошенького понемножку! – сказал Оле-Лукойе. – Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

– Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развеивается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

– Какие у тебя отметки за поведение?

– Хорошие! – отвечали все.

– Покажи-ка! – говорил он.

Приходилось показать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, – позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли – они сразу крепко прирастали к седлу.

– Но ведь Смерть – чудеснейший Оле-Лукойе! – сказал Яльмар. – И я ничуть не боюсь его!

– Да и нечего бояться! – сказал Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда была хорошая отметка за поведение!

– Да, вот это поучительно! – пробормотал прадедушкин портрет. – Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

И он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

1841

Свинопас



Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело заявить дочери императора: «Хочешь за меня замуж?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот ждите-ка этого от императорской дочки!

Послушаем же, как было дело.

На могиле покойного отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у них не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

– Ах, если бы тут была маленькая киска! – сказала она.

Но появилась прелестная роза.

– Ах, как это мило сделано! – сказали все фрейлины.

– Больше чем мило! – сказал император. – Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

– Фи, папа! – сказала она. – Она не искусственная, а настоящая!

– Фи! – повторили все придворные. – Настоящая!

– Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! – возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

– *Superbe! Charmant!*¹⁰ – сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

– Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! – сказал один старый придворный. – Да, тот же тон, та же манера давать звук!

– Да! – сказал император и заплакал, как ребенок.

– Надеюсь, что птица не настоящая? – спросила принцесса.

– Настоящая! – ответили ей доставившие подарки послы.

– Так пусть себе летит! – сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

– Здравствуйте, император! – сказал он. – Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

– Много вас тут ходит да ищет! – ответил император. – Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ach, mein lieber Augustin,
Alles ist hin, hin, hin!¹¹

Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек не чета был какой-нибудь розе!

¹⁰ Бесподобно! Прелестно! (*фр.*)

¹¹ Ах, мой милый Августин, Все прошло, прошло, прошло! (*нем.*)

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепьяно «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

– Ах, ведь и я это играю! – сказала она. – Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

– Что возьмешь за горшочек? – спросила она.

– Десять принцессиных поцелуев! – отвечал свинопас.

– Божи избави! – сказала фрейлина.

– А дешевле нельзя! – отвечал свинопас.

– Вот невежа! – сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ach, mein lieber Augustin,
Alles ist hin, hin, hin!

– Послушай! – сказала принцесса фрейлине. – Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

– Нет, спасибо! – ответил свинопас. – Десять поцелуев принцессы или горшочек останется у меня.

– Как это скучно! – сказала принцесса. – Ну, придется вам стать вокруг меня, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса – горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до кухни простого сапожника, о которой бы они ни знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

– Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

– Еще бы! – подтвердила обер-гофмейстерина.

– Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

– Помилуйте! – сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

– Но это superbe! – сказала принцесса, проходя мимо. – Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

– Он требует сто принцессиных поцелуев! – доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

– Да что он, в уме? – сказала принцесса и пошла своей дорогой, но сделала два шага и остановилась. – Надо поощрять искусство! – сказала она. – Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

– Ну, нам это вовсе не по вкусу! – сказали фрейлины.

– Пустяки! – сказала принцесса. – Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

– Сто принцессиных поцелуев! – повторил он. – А нет – каждый останется при своем.

– Становитесь вокруг! – скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас стал ее целовать.

– Что это за сборище у свиных закуток? – спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. – Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задки своих туфель. Туфлями служили ему старые стоптанные башмаки. Эх ты, ну как он зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев – надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

– Это еще что за штуки! – сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. – Вон! – закричал рассерженный император и прогнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и поливал на них.

– Ах, я несчастная! – плакала принцесса. – Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, так что принцесса невольно преклонилась перед ним.

– Теперь я только презираю тебя! – сказал он. – Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ach, mein lieber Augustin,
Alles ist hin, hin, hin!

1841

Гречиха



Часто после грозы видишь, что гречиха в поле опалена дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, – дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиной посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Другие поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом – чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в благочестивом смирении свои головы к земле.

Тут же, возле самой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

– Я не беднее хлебных колосьев! – говорила она. – Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

– Глупое дерево, у него от старости в животе трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепесточки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

– Склони голову! – говорили ей цветы.

– Незачем! – отвечала гречиха.

– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

– Ну а я все-таки не склоню головы! – сказала гречиха.

– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда разверзаются облака! Сам человек не дерзает этого; в это время можно заглянуть в самое небо Господне, но за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Мы, бедные полевые злаки, ведь куда ниже, ничтожнее человека!

– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Все кругом запылало от молний, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

– О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я; они прощебетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

1841

Бронзовый кабан

Вгороде Флоренции, недалеко от площади дель Грандука, есть небольшой переулок, который зовется, если не ошибаюсь, Порта-Росса. Тут, перед овощным и зеленым рынком, стоит бронзовый кабан искусной работы; изо рта его бежит чистая свежая вода. Само животное совсем уже почернело от времени, одна морда блестит, как полированная: ее отполировали сотни рук бедняков, детей и взрослых, обнимавших ее и подставлявших под струю воды свои пересохшие рты. Посмотреть только, как какой-нибудь хорошенький полунагой мальчуган обнимает красивое животное и приближает свой свеженький ротик к его морде – настоящая картина! Всякий, кто попадет во Флоренцию, без труда найдет это место: стоит только спросить любого нищего, и он сейчас скажет, где находится бронзовый кабан.

Был ранний зимний вечер; горы лежали все в снегу, но на небе сиял месяц, а месяц в Италии светит так, что превращает и ночь в день – не хуже наших темных зимних дней. Да что я – не хуже! Даже лучше, потому что тут светится сам воздух, и небо как будто поднимается выше, тогда как у нас, на севере, эта холодная свинцовая крыша – небо – просто гнетет нас к сырой земле, которая рано или поздно придавит крышку нашего гроба.



В герцогском саду, под сенью пихт, где и зимой цветут тысячи роз, целый день сидел маленький оборвыш. Мальчуган мог бы послужить живым изображением Италии: он так и сиял красотой и в то же время был так жалок, так несчастен... Ему страшно хотелось есть и пить, но никто не подал ему сегодня ни единой монетки. Между тем стемнело, сад пора было запирать, и сторож выгнал мальчика вон. Долго стоял бедняжка, задумавшись, на мосту, перекинутом через Арно, и смотрел на блестящие в воде звезды.

Потом он направился к бронзовому кабану, нагнулся, обхватил его ручонкой за шею и, приблизив ротик к его блестящей морде, стал жадно глотать свежую воду. Тут же валялись несколько листочков салата и пара каштанов – они пошли ему на ужин. На улице не было ни души, мальчик был один-одинешенек, и он уселся на бронзового кабана, склонился курчавою головкой на голову животного и мигом заснул.

В полночь бронзовый кабан шевельнулся, и мальчик явственно услышал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан в самом деле пустился с мальчиком во всю прыть. Вот так езда была!

Прежде всего они направились на площадь дель Грандука; бронзовая лошадь на герцогском монументе громко заржала; пестрые гербы на старой ратуше засветились, точно транспаранты, а Микеланджелов Давид взмахнул пращою; повсюду пробуждалась какая-то странная жизнь. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» стояли, точно живые; крик смертельного ужаса раздавался по великолепной безлюдной площади.

Возле Палаццо Уффици, под аркой, где собирается во время карнавала вся флорентийская знать, бронзовый кабан остановился.

– Держись крепче! – сказал он мальчику. – Теперь марш вверх по лестнице!

Мальчуган за все это время не проронил ни словечка, трепеща от страха и от радости. Вот они вступили в длинную галерею; мальчик хорошо знал ее: он бывал здесь и прежде. Стены пестрели картинами, повсюду стояли бюсты и статуи, озаренные чудным светом; казалось, здесь царил светлый день. Но еще лучше стало, когда растворилась дверь в боковые залы!

Вся эта роскошь была хорошо памятна мальчику, но на этот раз все являлось ему в каком-то особенном, чудном освещении.

Вот перед ним прелестная нагая женщина – такое совершенство природы могло быть воспроизведено в мраморе только искусством несравненного художника. Ее дивные формы дышали жизнью, у ног ее резвились дельфины, бессмертие сверкало в ее взоре. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини разместились мраморные статуи чудных юношей: один точил меч – его зовут «Точильщиком»; на другом же пьедестале боролись гладиаторы. И меч точился, и борцы сражались ради богини красоты.

Весь этот блеск почти ослеплял мальчугана; стены сияли разноцветными красками; все было – сама жизнь, само движение. Тут было еще одно изображение Венеры, земной Венеры, полной жизни и огня, какую грезилась она Тициану. Да, это были два чудных женских образа! Прекрасное, ничем не прикрытое тело Тициановой Венеры покоилось на мягком ложе; грудь ее тихо вздымалась, голова слегка шевелилась, пышные волосы падали на круглые плечи, а темные глаза горели страстью. Ни одна из картин не смела, однако, совсем выступить из рамы. Сама богиня красоты, гладиаторы и точильщик тоже оставались на своих местах: их сковывало сияние, лившееся от изображения Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть картинами, это были уже сами святые!

Что за красота, что за блеск царили в этих залах! Бронзовый кабан обошел их шаг за шагом, и мальчик увидел все. Одно зрелище вытеснялось из памяти другим, но одна картина оставила в его душе неизгладимый след, главным образом благодаря изображенным на ней радостным, счастливым детям; мальчик уже раз видел их днем.

Многие прошли бы, пожалуй, мимо этой картины, а между тем это истинное сокровище поэзии. На ней изображен Христос, сходящий в преисподнюю, но вокруг него толпятся не измученные грешники, а язычники. Рисовал картину флорентиец Анджело Бронзино. Лучше всего в ней – выражение на лицах детей твердой уверенности в том, что они взойдут на небо. Двое малюток уже обнимаются друг с другом; один, стоящий повыше, протягивает руки стоящему пониже, указывая при этом пальцем на самого себя, как бы говоря: «Я иду на небо!» На лицах же взрослых написаны робкая, неуверенная надежда и смиренная мольба.

На эту картину мальчик смотрел дольше всего; бронзовый кабан стоял смирно, и вдруг послышался тихий вздох. Откуда он вырвался? Из картины или из груди животного? Мальчик протянул руку к улыбающимся детям, но кабан помчался обратно в аванзалу.

– Спасибо тебе, милый, славный кабанчик! – сказал мальчуган и погладил животное, которое – тук, тук! – сбегало вниз по лестнице.

– Спасибо и тебе! – сказал кабан. – Я помог тебе, а ты помог мне: я могу двигаться, лишь когда на мне сидит невинный ребенок. Тогда я могу даже проходить под лучами лампы, горящей перед образом Мадонны. Всюду могу я входить с тобой, только не в церковь! Но смотреть туда в открытые двери мне не воспрещено! Не слезай же с меня! Если ты слезешь, я стану таким же мертвым, неподвижным, каким ты видел меня днем в переулке Порта-Росса.

– Я не покину тебя, милый кабан! – сказал мальчик, и они вихрем помчались по улицам на площадь, к церкви Санта-Кроче.

Огромные входные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, так что в церкви и даже на безлюдной площади было светло.

С надгробного памятника, помещавшегося в левом приделе церкви, струился какой-то удивительный свет, словно вокруг образовалось сияние из сотни тысяч движущихся звезд. На памятнике красовался герб: красная, словно пылающая в огне, лестница на голубом поле. То была гробница Галилея; она очень проста, герб же полон глубокого значения. Он мог бы послужить гербом самого искусства или науки: представителей их ведь тоже ведет к бессмертию пылающая лестница; все пророки искусства и науки, отмеченные дарами Духа, восходят на небо, как пророк Илия.

Изображения, помещавшиеся на мраморных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, все ожили. Тут стоял Микеланджело, там – Данте с лавровым венком на челе, здесь – Альфьери, Макиавелли – повсюду великие мужи, гордость Италии¹². Церковь Санта-Кроче великолепна, куда красивее, хоть и не так велика, как мраморный Флорентийский собор.

Складки мраморных одеяний шевелились, а сами изображения великих людей поднимали головы и устремляли взоры на блестящий алтарь, откуда слышалось пение и где кадили золотыми кадилами мальчики в белоснежных одеждах; сильное благоухание струилось из церкви на площадь.

Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый кабан помчался дальше, и ему пришлось крепко прижаться к шее животного. Ветер так и свистел у него в ушах, двери собора с визгом затворились; тут сознание оставило мальчика, смертельный холод охватил его члены, и – он открыл глаза.

Было уже утро; он полусидел, полулежал, почти совсем соскользнув со спины кабана, который стоял, как и всегда, на своем обычном месте.

Ужас охватил мальчика при одной мысли о той, кого он звал матерью. Она послала его вчера собирать милостыню, но никто не подал ему ничего; голод мучил бедняжку. Еще раз обнял он кабана, поцеловал его в морду, кивнул ему головой и направился в одну из самых узких улиц, где едва-едва мог пройти навьюченный осел. Затем мальчик вошел в полуотворенную, окованную железом дверь и стал подниматься по грязной кирпичной лестнице с веревкой вместо перил. Лестница вела на открытую галерею, всю увешанную лохмотьями; с галереи во двор спускалась другая лестница; посреди двора находился колодец, от которого во все этажи были проведены толстые железные проволоки, а по ним то и дело двигались ведра с водой; ворот скрипел, а вода из ведер плескала на мостовую двора. По узенькой полуразвалившейся кирпичной лесенке мальчик поднялся еще выше; навстречу ему весело сбегали по ступеням двое русских матросов и чуть не сбили мальчугана с ног. Они возвращались с веселой ночной пирушки; за ними шла немолодая, но крепко сложенная женщина с густыми черными волосами.

– Много принес? – спросила она мальчика.

– Не сердись! – взмолился он. – Никто не дал мне ничего!

И он схватился за край платья матери, как бы желая поцеловать его. Они вошли в комнату; описывать ее мы не станем; довольно будет сказать, что тут стоял глиняный горшок с горячими угольями – грелка, или *marito*, как его зовут в Италии. Женщина взяла его и стала греть свои руки.

– Что-нибудь ты принес все-таки? – спросила она, толкнув мальчика локтем.

Ребенок заплакал; она дала ему пинка ногою; он громко завопил.

– Замолчи, не то я разобью твою горластую башку! – сказала она и замахнулась на него грелкой.

Мальчик с криком припал к земле. Дверь отворилась, и вошла соседка, тоже с грелкой в руках.

– Феличита! Что ты делаешь с ребенком?

– Ребенок мой! – отвечала Феличита. – Я могу убить его, если захочу, да и тебя вместе, Джианина!

И она замахнулась грелкой. Соседка подняла на защиту свою, и горшки столкнулись – черепки, уголья и зола разлетелись по всей комнате, а мальчик – за дверь, на двор да на улицу!

¹² Неподалеку от гробницы Галилея находится гробница Микеланджело; на ней – его бюст и три аллегорических изображения: Скульптура, Живопись и Архитектура. Рядом – гробница Данте (тело его покоится в Равенне); на ней видна фигура Италии, указывающая на колоссальную статую Данте; тут же поэзия оплакивает понесенную ею утрату. В двух шагах – надгробный памятник Альфьери, украшенный лаврами, лирой и масками; над гробом плачет Италия. Гробница Макиавелли заканчивает этот ряд памятников великих людей Италии (*Примеч. автора*).

Бедный ребенок бежал, пока у него нехватило дух, и он поневоле остановился у церкви Санта-Кроче, у той самой, в которой побывал сегодня ночью. Церковь вся сияла в огнях; он вошел, опустился на колени возле первой гробницы направо – это была гробница Микеланджело – и громко зарыдал. Народ приходил и уходил, обедня кончилась, никому не было дела до мальчика; приостановился было и посмотрел на него только какой-то пожилой горожанин, но потом и тот пошел своею дорогой, как другие.

Ребенок совсем обессилел от голода и жажды, заполз в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Проснулся он только под вечер – кто-то растолкал его; он встал и увидел перед собою того же самого старика.

– Тебе нездоровится? Где ты живешь? Ты целый день здесь? – засыпал он мальчика вопросами.

Мальчик ответил, и старик повел его в маленький домик на одной из боковых улиц неподалеку от церкви. Они вошли в перчаточную мастерскую: пожилая женщина прилежно шила, а по столу перед ней прыгала маленькая беленькая болонка, остриженная так коротко, что сквозь шерстку просвечивало розовое тельце. Болонка кинулась к мальчику.

– Невинные души живо признают друг друга! – сказала женщина и погладила собачку и ребенка.

Добрые люди, накормив и напоив мальчика, позволили ему переночевать у них, а на другой день дядюшка Джузеппе хотел поговорить с матерью мальчугана.

Ребенка уложили на маленькую бедную постель, но она показалась ему княжеской: он привык проводить ночи на жестких камнях мостовой. Спокойно заснул он и видел во сне роскошные картины и бронзового кабана.

Утром дядюшка Джузеппе ушел, а бедный мальчуган пригорюнился: дело кончится тем, что его отведут к матери! И он плакал, целуя беленькую резвую собачку, а добрая женщина ласково кивала им головой.

Ну, с чем-то вернулся дядюшка Джузеппе? Он долго беседовал с женой; та одобрительно покачивала головой и гладила мальчика по головке, говоря:

– Такой милый мальчик! Из него выйдет славный перчаточник, не хуже тебя! У него такие тонкие, гибкие пальцы! Он самую Мадонной назначен в перчаточники!

И мальчик остался у них. Жена перчаточника учила его шить; кормили его хорошо, спал он отлично и сделался веселым, резвым мальчиком, который не прочь был иногда пошалить и подразнить Беллиссиму – так звали собачку; но хозяйка грозилась ему пальцем, бранилась и сердилась, что очень огорчало мальчика. Раз как-то он сидел, задумавшись, в своей каморке, в которой сушились и кожи; окна, выходящие на улицу, были огорожены толстыми решетками; мальчик не мог спать: бронзовый кабан не выходил у него из головы, и вдруг он услышал на улице: тук! тук! Это, наверное, кабан! Мальчик бросился к окну, но улица была уже пуста.

– Помоги-ка синьору, возьми ящик с красками! – сказала раз утром хозяйка при виде молодого соседа-художника, тащившего ящик и накатанный на палку холст.

Мальчик взял ящик и пошел за художником. Они отправились в картинную галерею и поднялись по той самой лестнице, которую мальчик так хорошо помнил с той ночи, когда ездил на кабана; он узнал все статуи и картины, чудную мраморную Венеру, Мадонну, Иисуса и Иоанна.

Вот они остановились перед картиной Бронзино, на которой изображен Христос, нисходящий в преисподнюю и окруженный улыбающимися и крепко верящими в свое спасение детьми; бедный мальчик тоже весь просиял улыбкой – он сам чувствовал себя на небе.

– Ну, ступай себе! – сказал ему художник, успевший уже установить свой мольберт.

– Нельзя ли мне посмотреть, как вы перенесете картину сюда, на этот белый холст? – сказал мальчик.

– Теперь я еще не буду писать красками! – отвечал художник и взял угольный карандаш.

Быстро задвигалась его рука, глаза впились в большую картину и, несмотря на то что он делал лишь одни тонкие штрихи, на холсте у него появился тот же воздушный образ Христа, что и на картине, писанной масляными красками.

– Ну, ступай же! – сказал опять художник, и мальчик тихонько побрел домой, сел за стол и стал учиться... шить перчатки.

Но мысли его неслись к картинной галерее, он колол себе иголкой пальцы, работа не спорилась, зато и Беллссиму он больше не дразнил. Вечером мальчик скользнул в отворенную дверь на улицу; было холодно, но на небе сияли чудные ясные звездочки. Он побежал по безмолвным улицам прямо к бронзовому кабану, наклонился к нему, поцеловал его в блестящую морду, потом уселся ему на спину и сказал:

– Как я соскучился по тебе, милый кабан! Надо нам опять прокатиться сегодня ночью!

Бронзовый кабан не шевельнулся, изо рта его по-прежнему бежала струя чистой, свежей воды. Мальчик сидел на нем, точно всадник на коне, как вдруг кто-то потянул его за край платья. Он взглянул и увидел Беллссиму, маленькую, голенькую Беллссиму! Собачка тоже незаметно шмыгнула в дверь и увязалась за мальчиком. Беллссима тяфкала, словно хотела сказать мальчику: «И я тут! А ты куда это забрался?» Явись перед мальчиком огненный дракон, бедняжка не испугался бы его больше Беллссимы. Беллссима на улице и «не одета!», как сказала бы хозяйка. Что же теперь будет?! Зимой собачку никогда не выпускали из дома без теплой, нарочно для нее сшитой, овчинной попонки. Овчинка была украшена бубенчиками и бантиками, привязывалась же к шейке и под брюшком красными ленточками. Сопровождая в таком наряде свою госпожу на прогулку, собачка была похожа на маленького семенившего ножками барашка. «Беллссима тут, и не одетая! Что теперь будет?» Все мечты разлетелись, мальчик поцеловал бронзового кабана, подхватил Беллссиму – бедняжка дрожала от холода – и побежал домой что было мочи.

– Что это у тебя? Куда бежишь? – закричали два попавшихся ему по дороге жандарма; Беллссима залаяла.

– Где ты стащил такую хорошенькую собачку? – спросили они и отняли ее у мальчика.

– Ах, отдайте мне собачку! – умолял мальчуган.

– Если ты не украл ее, скажи дома, чтобы кто-нибудь пришел за ней на гауптвахту.

И они ушли с Беллссимой.

Вот так горе! Что было ему делать: броситься в Арно или идти домой с повинной? Хозяйка, конечно, избьют его до смерти! «Ну и пусть, я сам хочу умереть; я пойду тогда к Иисусу и Мадонне!» И он пошел домой, главным образом, для того, чтобы умереть.

Дверь была заперта; он не мог достать до дверного молотка; на улице не было ни души, но на мостовой валялся булыжник, и мальчик принялся колотить им в дверь.

– Кто там? – послышался оклик.

– Я! – сказал он. – Беллссимы нет! Отворите мне и бейте меня до смерти.

Поднялась суматоха; особенно испугалась за бедную собачку хозяйка; она сейчас же взглянула на стену, где висела собачкина попонка: овчинка была на месте.

– Беллссима на гауптвахте! – завопила она. – Ах ты, негодный мальчишка! Как это ты выманил ее? Она замерзнет! Такое нежное созданище в руках грубых солдат!

И дядюшке Джузеппе пришлось отправиться за собачкой. Хозяйка охала, а мальчик плакал; сбежались все соседи, пришел и художник. Он притянул к себе мальчугана, стал расспрашивать, как было дело, и кое-как, клочками и отрывками, узнал всю историю о бронзовом кабане и о картинной галерее. Не сразу можно было понять мальчугана.

Художник утешал мальчика и заступался за него перед старухой, но она успокоилась только тогда, когда дядюшка Джузеппе вернулся с Беллссимой, побывавшей у солдат. То-то была радость! Художник приласкал бедного мальчугана и дал ему целую стопку картинок.

Картинки были чудесные, пресмешные! Особенно хорош был бронзовый кабан – ну совсем как живой! Лучше его и быть ничего не могло! Художник сделал несколько штрихов карандашом, и на бумаге появился бронзовый кабан, да не только он, но и дом, находившийся позади него!

«Вот бы уметь так рисовать и писать красками! Весь мир стал бы моим! Все можно было бы перенести на бумагу!»

На другой день, улучив минуту, когда остался один, мальчик схватил карандаш и попробовал срисовать кабана на оборотной стороне одной из картинок. Удалось! Немножко криво, немножко косо, одна нога толще другой, но все-таки можно было догадаться, что это бронзовый кабан.

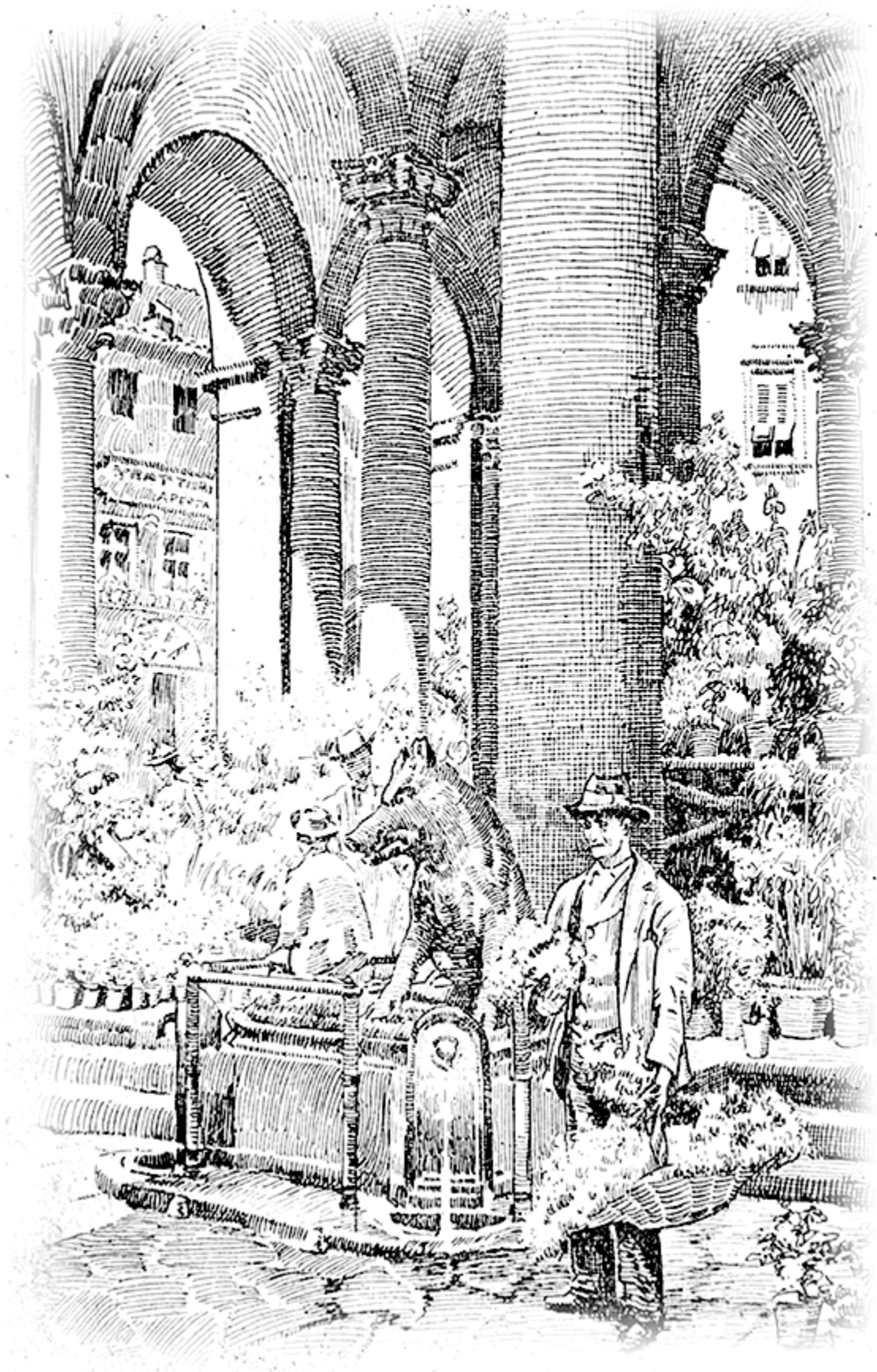
Мальчик ликовал! Правда, карандаш еще плохо слушался его – он отлично замечал это. Но на следующий день рядом с первым бронзовым кабаном стоял другой; этот был уже во сто раз лучше, третий же так хорош, что всякий сразу узнал бы, с кого он был срисован.

Зато плохо шло шитье перчаток, плохо и медленно исполнялись разные маленькие поручения хозяев. Благодаря бронзовому кабану мальчик узнал, что на бумагу можно перенести любую картину, а город Флоренция – настоящий альбом, знай себе перелистывай! На площади делла Тринита стоит стройная колонна; на самой вершине ее – богиня правосудия с завязанными глазами и весами в руках; скоро и она попала на бумагу, перенес же ее туда ученик перчаточника. Коллекция рисунков у него все росла, но все это были пока изображения предметов неодушевленных. Раз запрыгала перед ним Беллссима, и он сказал ей:

– Стой смирно! Увидишь, какую ты выйдешь хорошенькою на картинке!

Беллссима, однако, не хотела стоять смирно и пришлось ее привязать. Но и привязанная за хвост и за голову, она все-таки продолжала прыгать и лаять; понадобилось хорошенько натянуть шнурок. Вдруг вошла синьора.

– Безбожный мальчишка! Бедная собачка! – вот все, что она могла вымолвить.



Потом она оттолкнула мальчика, дала ему пинка ногой и выгнала неблагодарного безбожника из дома, покрывая поцелуями и слезами бедную, полузадохшуюся Беллиссиму.

В это время по лестнице поднимался художник, и – тут поворотный пункт нашей истории.

В 1834 году во Флорентийской академии художеств была выставка. Две картины, стоявшие рядом, привлекали толпы зрителей. На картине поменьше был изображен веселый мальчуган, который срисовывал маленькую беленькую коротко остриженную собачку.

Модель, видно, не хотела стоять смиренно и потому была прикручена к столу за хвост и за голову шнурком. Жизнь так и была в этой картине ключом, и все были от нее в восторге. Картина принадлежала, как говорили, кисти молодого флорентийца, найденного где-то на улице еще ребенком, воспитанного стариком-перчаточником и самоучкою выучившегося рисовать. Один знаменитый теперь художник случайно открыл его талант, когда мальчугана выгоняли из дома за то, что он, желая срисовать хозяйкину любимицу собачку, связал и чуть-чуть не задушил ее.

Из ученика-перчаточника вышел великий художник – об этом свидетельствовала и упомянутая картина, в особенности же та, большая, что находилась рядом. На ней была всего одна фигура: прелестный оборванный мальчуган крепко спал, сидя на бронзовом кабане из перелука Порто-Росса¹³.

Всем зрителям было хорошо знакомо это место. Руки мальчика покоились на голове кабана. Милое бледное детское личико было ярко освещено лучами от лампы, висевшей перед образом Мадонны. Картина была чудная! На угол великолепной золотой рамы был повешен лавровый венок, но между зелеными листьями висала черная лента и черный флер.

Молодой художник незадолго перед тем умер.

1842

Побратимы

Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далекое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет выючная лошадь с чемомоданом, палаткой и провизией и, наконец, для прикрытия, двое солдат.

Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки; какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки; тогда крепче держись в седле – как раз снесет!

Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая! Природа предстает здесь перед человеком во всем своем величии; с каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания – глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудные картины природы, художник – перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.

Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой, бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого путевода.

Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.

¹³ Бронзовый кабан – копия; оригинал же – мраморный и стоит в галерее Уфици (Примеч. автора).

– Мы жили в глиняной мазанке; вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню ее уже некрасивою, почерневшею, но когда жильё крыли, для нее принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слыхал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи; зато самое место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Темные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой долгие всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мнут своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением! Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями, а мимо тут лань проходила. «Что плачешь, олень, что роняешь зеленые, синие, красные слезы?» – «В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи!» – «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубину!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Тут на глазах матери навертывались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пекшиеся в золе черные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил:

«Мы убьем этих турок!»

Но мать повторяла слова песни:

«Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубину!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью; но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый блестящий нож. Но раз он принес нам ребенка, маленькую нагую девочку, которую нес завернутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил ее матери на колени, и когда ее развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрою. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии – так звали девочку. Она должна была стать моею сестрой, потому что отец ее был побратимом моего; они побратались еще в юности, согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка в округе.

И вот малютка стала моею сестрой; я качал, ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олени, плакавшем зелеными, синими и красными слезами; но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражались скорби моего народа.

Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более двадцати турок, вооруженных саблями

и ружьями, – иноземцы были друзьями паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и наконец увидеть причудливые черные отвесные скалы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино; турки же не смели его пить.

Когда они уезжали, я проводил их недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне – то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы одним существом, – вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.

Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то были албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушел, в волосах у нее остались только две серебряных монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.

– Плюну вверх – угрожу себе в лицо, – говорил он, – плюну вниз – угрожу себе в бороду! Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!

Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя, мы услышали выстрелы, потом еще и еще; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех; и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас.

Я увидел трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки, мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.

Как долго пробыли мы в темнице – не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой пасхи; я тащил на спине Анастасию, – мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; в образе чудесных цветов лежал сам Господь наш Иисус Христос – так сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскрес!» – и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажженные свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией.

Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев; нас пригласили присесть к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскрес!» Так мы встретились: Афганидес и я.

Мать умела плести рыболовные сети; тут возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывало на вкус слезами, а игрою красок напоминало слезы оленя: то оно было красное, то зеленое, то снова синее.

Афганидес умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. На закате горы окрашивались в темно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выглядывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскаленное железо, и казалось, что весь

этот блеск и свет исходят изнутри ее самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, как в Дельфах между темными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звезды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звезды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я все еще там... Вдруг набежала волна, и лодку качнуло. Я громко вскрикнул – Анастасия упала в воду! Но Афганидес, быстрый как молния, вытащил ее и передал мне. Мы сняли с нее платье, выжали и потом опять одели ее. То же сделал Афганидес, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись, Афганидес же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.

Настало лето. Солнце так и пекло, листья на деревьях поблекли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который все еще благоухал, хотя солнце почти совсем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха, ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звезды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли светился прозрачный голубой воздух или это сияние шло от звезд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, поджарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нимало не боясь ни гадкого Смидраки¹⁴, из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.

Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки оставалась только куча мусору; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетенки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника¹⁵; товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.

Раз навестил нас милый Афганидес. Он сильно соскучился по нам, сказал он, и пришел повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас.

Через месяц он пришел опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришел проститься с нами. Матери он принес в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях, и о царях, правивших Грецией в былые времена, как турки теперь.

Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком, прежде чем я успевал подумать о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. И вот она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли.

Раз вечером явился Афганидес, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афганидеса с каким-то почтением.

– Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов сказал я ему.

¹⁴ Смидраки – по поверию греков, чудовище, образующееся из неразрезанных и брошенных в поле желудков убитых овец (Примеч. автора).

¹⁵ Священником зачастую становится первый грамотный крестьянин, но простолюдины зовут его святейшим отцом и падают при встрече с ним ниц (Примеч. автора).



– Ты однажды рассказал мне кое-что получше! – отвечал он. – И рассказ твой не идет у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдем в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек Анастасия скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, побратимство!

Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать поцеловала Афганидеса.

На расстоянии часа ходьбы от нашего жилья, там, где скалы покрыты черноземом, стоит, в тени небольшой купы деревьев, маленькая церковь; перед алтарем висит серебряная лампада.

Я надел самое лучшее свое платье: вокруг бедер богатыми складками легла белая фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом – нож и пистолеты. На Афганидесе был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок божьей матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидел бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы вошли в маленькую пустую церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими

на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях перед алтарем; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегло ее стройный стан; на белой шее и груди красовались монеты из древних и новых монет. Черные волосы ее были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть ни у одной гречанки. Лицо ее сияло, глаза горели, как звезды.

Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

– Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?

– Да! – ответили мы.

– Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось: «Брат мой – часть меня самого, моя святынь – его святыня, мое счастье – его счастье, я должен жертвовать для него всем и стоять за него, как за самого себя».

И мы повторили: «Да!»

Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других святых отцов. Вечный братский союз был заключен. Когда мы вышли из церкви, я увидел мою мать, плакавшую от умиления.

Как стало весело в нашей мазанке у Дельфийского источника! Вечером накануне того дня, как Афганидес должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя – его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.

– Одного еще не знаешь ты – того, что было известно до сих пор лишь Богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..

– Кого же любишь ты? – спросил Афганидес, краснея.

– Анастасию! – сказал я.

И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертной бледностью. Я заметил это и понял все! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и прошептал:

– Я еще не говорил ей об этом! Может быть, она и не любит меня... Брат, вспомни: я видел ее ежедневно, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!

– И она будет твоей! – сказал он. – Твоей! Я не могу и не хочу украсть ее у тебя! Я тоже люблю ее, но... завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?... У меня есть кое-какие деньги – они твои! Ты должен взять, ты возьмешь их!

Тихо поднялись мы на гору; уже свечерело, когда мы остановились у дверей мазанки.

Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афганидеса и сказала:

– Завтра ты покинешь нас! Как это меня огорчает!

– Огорчает тебя! – сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и мое сердце. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял Анастасию за руку и сказал:

– Брат наш любит тебя, а ты его? В его молчании – его любовь!

И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну ее, рука моя обняла ее стан, и я сказал ей:

– Да, я люблю тебя!

И уста ее прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи... Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афганидеса.

На заре он крепко поцеловал нас всех и ушел. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя и женой.

1842

Роза с могилы Гомера



Все восточные сказания говорят о любви соловья к розе: в тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром.

На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то и неслась песня соловья; он пел страданиях любви, но роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвями к лежащему под кустом большому камню.

– Тут покоится величайший из певцов земных! – говорила роза. – Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах творца «Илиады» смешался с землею, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

И соловей пел, пел, пока не умер.

Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которою качалась от дуновения ветра роза.

Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков; между ними был

певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собою в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

– Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего, – она все еще была ведь в своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне, и между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах свой поцелуй и увез ее в страну туманов и северного сияния. Как мумия покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит. Как он говорит, открывая книгу:

– Вот роза с могилы Гомера.

1842

Ангел

Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути ангел с ребенком набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, неся его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

– Какие же взять нам с собою на небо? – спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломил его, так что ветви, усыпанные большими полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

– Бедный куст! – сказала дитя. – Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, у Боженьки.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но кроме них взяли и скромный златоцвет, и простенькие анютины глазки.

– Ну вот, теперь и довольно! – сказал ребенок, но ангел покачал головой, и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал; они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялись солома, зола и всякий хлам; черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда.

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка; цветок занял и никуда больше не годился, его и выбросили.

– Возьмем его с собою! – сказал ангел. – Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать:

– В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь; такое сидение на солнышке

заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весной первую распутившуюся буковую веточку; бедняжка держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе Господь Бог... Вот уже целый год, как мальчик у Бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветочек мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.



– Откуда ты знаешь все это? – спросило дитя.

– Знаю! – отвечал ангел. – Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя – и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели – и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.

Соловей

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все окружающие его – китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем!

В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценнейшего фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него и дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, а в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал соловья, на следующую же ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой: ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Что такое? – удивился император. – Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слышал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроче осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» – а это ведь ровно ничего не означает.

– Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Ее считают первой достопримечательностью моего великого государства! – сказал император. – Почему же мне ни разу не доложили о ней?

– Я даже и не слышал о ней! – отвечал первый приближенный. – Она никогда не была представлена ко двору!

– Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! – сказал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

– И не слыхивал о такой птице! – повторил первый приближенный. – Но я разыщу ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

– Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это одни выдумки, так сказать, черная магия!..

– Но ведь эта книга прислана мне самим могущественнейшим повелителем Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина надавать всем придворным палочных ударов по животу!

– Тзинг-пе! – сказал первый приближенный и опять забежал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных – никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знал весь свет, но ни одна душа при дворе.

Наконец на кухне нашли одну бедненькую девочку, которая сказала:

– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня!..

– Кухарочка! – сказал первый приближенный императора. – Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова.

– О! – сказали молодые придворные. – Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданыца! Но мы положительно слышали его раньше!

– Это мычит корова! – сказала девочка. – Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

– Чудесно! – сказал придворный бонза. – Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

– Нет, это лягушки! – сказала опять девочка. – Но теперь, я думаю, скоро услышим и его! И вот запел соловей.



– Вот это соловей! – сказала девочка. – Слушайте, слушайте! А вот и он сам! – И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

– Неужели! – сказал первый приближенный императора. – Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш милостивый император желает послушать тебя!

– Очень рад! – ответил соловей и запел так, что просто чудо.

– Словно стеклянные колокольчики звенят! – сказал первый приближенный. – Глядите, как работает это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

– Спеть ли мне императору еще? – спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

– Несравненный соловушка! – сказал первый приближенный императора. – На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

– Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! – сказал соловей. – Но я охотно отправлюсь с вами, если это угодно императору.

При дворе шла суетня и приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения сотен тысяч золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса.

Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке – теперь ведь она получила звание лейб-поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалуется соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

– Я видел на глазах императора слезы – какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Бог видит – я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

– Вот самое очаровательное кокетство! – сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже лакеи и горничные объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей имел положительный успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его ножке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

– Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! – сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу – и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

– Какая прелесть! – сказали все, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

– Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – как заведенная шарманка.

– Это не его вина! – сказал придворный капельмейстер. – Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал, как браслеты и брошки!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

– Что же это, однако, такое! – огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью.

– Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

– Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать всё его внутреннее устройство – плод человеческого ума, расположение и действие валиков, всё, всё!

– Я как раз того же мнения! – сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

– Надо и народу послушать ее! – сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто до-весела напился чаю. – это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!» – поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

– Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего – мы и сами не знаем!

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны». – император считал более важной именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов книг, ученых-преученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год, да и то едва-едва, позволили заводить птицу. Но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

– Пф! – отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Лакеи бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой кофе. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные головы: одни гадкие и злые, другие добрые и милые на вид. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него на груди.



– Помнишь это? – шептали они, одна за другой. – Помнишь это? – И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

– Я и не знал об этом! – говорил император. – Музыка сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они всё продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

– Музыка сюда, музыку! – кричал император. – Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туплю, пой же, пой!

Но птица молчала – некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его, живой соловей. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь прилиwała к сердцу императора всё живее и живее; сама Смерть заслушалась соловья и всё повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

– А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? – спрашивал соловей.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей продолжал петь. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

– Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я узнал тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую Смерть! Чем мне вознаградить тебя!

– Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! – сказал соловей. – Я видел слезы на твоих глазах в первый же раз, как пел перед тобою, – этого я не забуду никогда! Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

– Ты должен остаться у меня навсегда! – сказал император. – Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

– Не надо! – сказал соловей. – Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилегать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и поселянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

– Всё! – сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел надеть на себя свое царское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

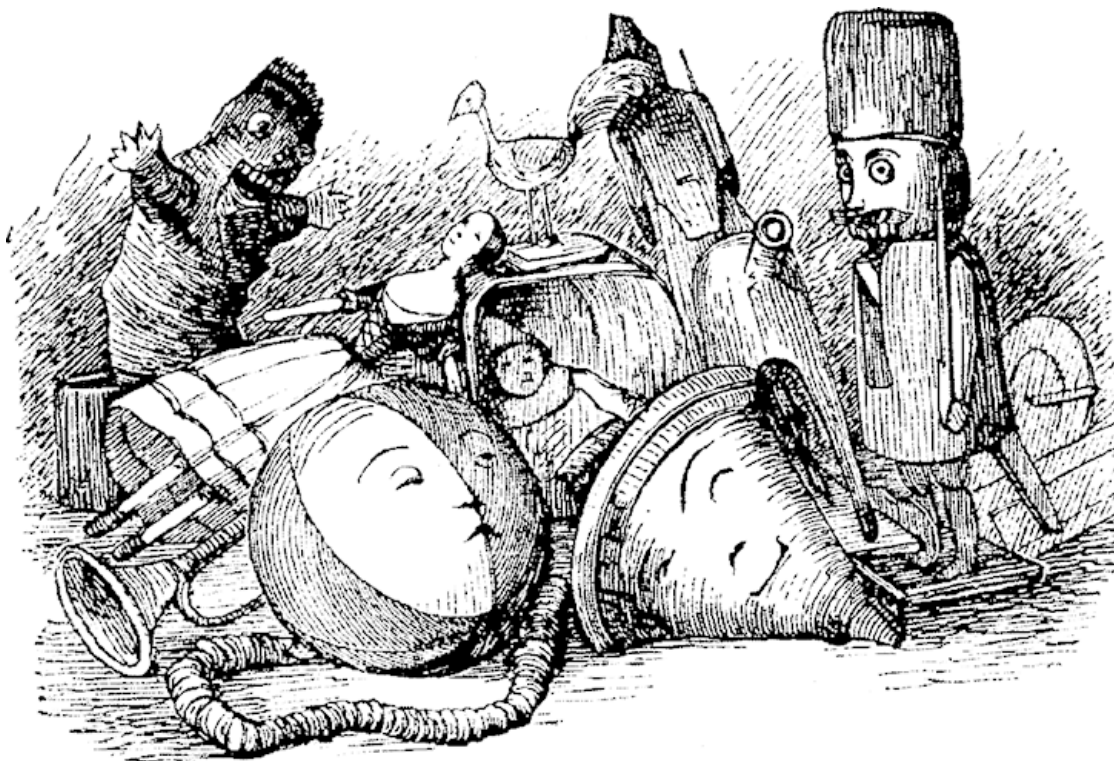
– Об одном прошу я тебя – не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

– Здравствуйте!

Жених и невеста



Молодчик-кубарь и барышня-мячик лежали рядом в ящике с игрушками, и кубарь сказал соседке:

– Не пожениться ли нам? Мы ведь лежим в одном ящике.

Но мячик – сафьянового происхождения и вообразивший о себе не меньше, чем любая барышня, – гордо промолчал.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!

– Посмотрите-ка на меня! – сказал он мячику. – Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Поискать такой славной парочки!

– Вы думаете? – сказал мячик. – Вы, должно быть, не знаете, что я веду свое происхождение от сафьяновых туфель и что внутри у меня пробка?

– А я из красного дерева, – сказал кубарь. – И меня выточил сам городской голова! У него свой собственный токарный станок, и он с таким удовольствием занимался мной!

– Так ли? – усомнился мячик.

– Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу! – сказал кубарь.

– Вы очень красноречивы, – сказал мячик. – Но я все-таки не могу. Я уж почти невеста! Стоит мне взлететь вверх, как из гнезда высовывается стриж и все спрашивает: «Согласны? Согласны?» Мысленно я всякий раз говорю: «Да», значит, дело почти слажено. Но я обещаю вам никогда вас не забывать!

– Вот еще! Очень нужно! – сказал кубарь, и они перестали говорить друг с другом.

На другой день мячик взяли. Кубарь смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и наконец совсем исчез из глаз, потом опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка – неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и – поминай как звали! Мальчик искал, искал – нет нигде, да и только!

– Я знаю, где мячик! – вздохнул кубарь. – В стрижином гнезде, замужем за стрижом!

И чем больше думал кубарь о мячике, тем больше влюблялся. Сказать правду, так он потому все сильнее влюблялся, что не мог жениться на своей возлюбленной, подумать только – она предпочла ему другого!

Кубарь плясал и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет; любовь кубаря стала уже старой любовью.

Да и сам кубарь был немолод... Раз его взяли и вызолотили. То-то было великолепие! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Да уж, нечего сказать! Вдруг он подпрыгнул повыше и – пропал!

Искали, искали, даже в погреб слазили, – нет, нет и нет!

Куда же он попал?

В помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно разной дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

– Угодил, нечего сказать! – вздохнул кубарь. – Тут вся позолота разом сойдет! И что за дрянь тут валяется?

И он покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь, вроде старого яблока. Но это было не яблоко, а старая барышня-мячик, который застрял когда-то в водосточном желобе, пролежал там много-много лет, весь промок и наконец упал в ведро.

– Слава богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! – сказал мячик, посмотрев на вызолоченный кубарь. – Я ведь, в сущности, из сафьяна и сшита девичьими ручками, а внутри у меня пробка! А кто это скажет, глядя на меня? Я чуть не вышла замуж за стрижа, да вот попала в водосточный желоб и пролежала там целых пять лет! Это не шутка! Особенно для девицы!

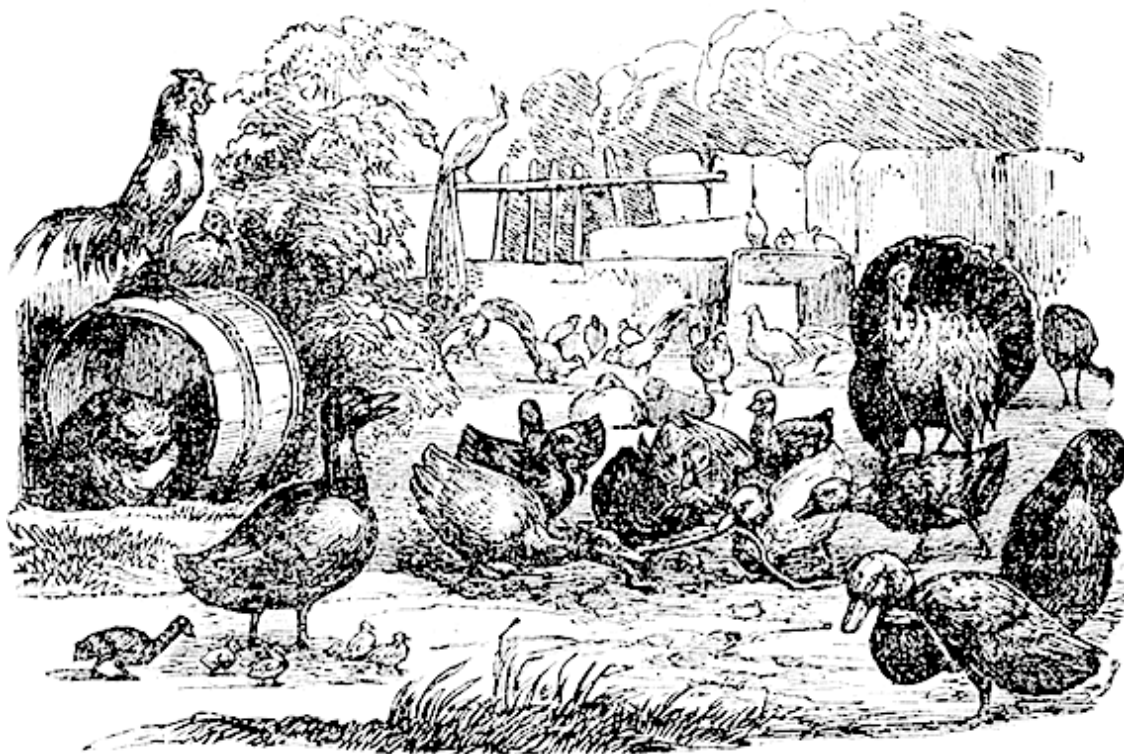
Кубарь молчал; он вспомнил о своей старой возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

– А, вот где наш кубарь! – сказала она.

И кубарь опять попал в комнаты и в честь, а о мячике не было и помину. Сам кубарь никогда больше и не заикался о своей старой любви: любовь как рукой снимет, если предмет ее пролежит пять лет в водосточном желобе да еще встретится вам в помойном ведре! Тут его и не узнаешь!

Гадкий утенок



Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стоги; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски – он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо было за городом! Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребята могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавам, чем сидеть в лопухе да кричать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» – послышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

– Живо! Живо! – закричала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им – зеленый свет полезен для глаз.

– Как мир велик! – сказали утята.

Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они лежали в яйцах.

– А вы думаете, что тут и весь мир? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я отроду не бывала. Ну, все, что ли, вы тут? – И она встала. – Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

– Ну, как дела? – заглянула к ней старая утка.

– Да вот, еще одно яйцо остается! – сказала молодая утка. – Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навистил меня ни разу!

– Постой-ка, я взгляну на яйцо! – сказала старая утка. – Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

– Посижу уж еще! – сказала молодая утка. – Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

– Как угодно! – сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» – и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

– Ужасно велик! – сказала она. – И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! – и утка очутилась в воде.

– За мной! Живо! – позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.

– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество – мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

– Вот как идут дела на белом свете! – сказала утка и облизнула язычком клюв – ей тоже хотелось отведать угриной головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – сказала она утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Они так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

– Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

– Оставьте его! – сказала утка-мать. – Он ведь вам ничего не сделал!

– Положим, но он такой большой и странный! – отвечала забияка. – Ему надо задать хорошенькую трепку!

– Славные у тебя детки! – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

– Никак нельзя, ваша милость! – ответила утка-мать. – Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.

И она провела носиком по перышкам большого утенка.

– Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

– Остальные утята очень-очень милы! – сказала старая утка. – Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все – и утки и куры.

– Он больно велик! – говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

– Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

– Глаза бы мои тебя не видали!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и – через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидели нового товарища.

– Ты кто такой? – спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

– Ты пребезобразный! – сказали дикие утки. – Но нам до этого нет дела, только не вздумай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть тут в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом.

– Слушай, дружище! – сказали они. – Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» – раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» – раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники обложили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь – перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизилась к утенку своей пастью, оскалила острые зубы и – шлеп, шлеп – побежала дальше.

– Слава богу! – перевел дух утенок. – Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело летали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка – приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал: что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица клохтать.

– Что там? – спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. – Вот так находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!



И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом – лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

– Умеешь ты нести яйца? – спросила она утенка.

– Нет!

– Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

– Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

– Нет!

– Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

– Да что с тобой?! – спросила она. – Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

– Ах, плавать по воде так приятно! – сказал утенок. – А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

– Хорошо наслаждение! – сказала курица. – Ты совсем рехнулся! Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки госпожи, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

– Вы меня не понимаете! – сказал утенок.

– Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя – по этому всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! – сказал утенок.

– И с богом! – отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их по воздуху; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли градом и снегом, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного гадкого утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем, но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком – молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щип-

цами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевывавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна-красна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

– Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а – лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, – он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами по перышкам.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал:

– Новый, новый!

И все остальные подхватили:

– Да, новый, новый! – хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом с матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!



И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился – доброе сердце не знает гордости: он вспоминал то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

– Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!

1843

Ель

Влесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом росли подружки постарше – и ели и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие соломинки, они присаживались возле елочки отдохнуть и всегда говорили:

– Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошел год – и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год – прибавилось еще одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели.

– Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! – вздыхала елочка. – Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!



И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку – вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом – что может быть лучше этого!» – думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

– Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

– Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Я привез вам поклон от этих важных особ!

– Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

– Ну, это долго рассказывать! – отвечал аист и улетел.

– Радуйся своей юности! – говорили елочке солнечные лучи. – Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

– Куда? – спросила ель. – Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

– Мы знаем! Мы знаем! – прочирикали воробы. – Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

– А потом?.. – спросила ель, дрожа всеми ветвями. – А потом?.. Что было с ними потом?

– А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

– Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! – радовалась ель. – Это лучше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

– Радуйся нам! – сказали ей воздух и солнечный свет. – Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, – она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг – елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

– Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров – так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, перевернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сладостями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы – ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек – красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели – большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

– Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! – сказали все.

«Ах! – подумала елка. – Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробы? Или, может быть, я врасу в эту кадку и буду стоять тут такую нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка преобильно обожглась.

– Ай-ай! – закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее...

Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети поплясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.

«Что же это они делают? – думала елка. – Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

– Сказку! Сказку! – закричали дети и подтащили к елке маленького, толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

– Вот мы и в лесу! Да и елка кстати послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

– Про Иведе-Аведе! – закричали одни.

– Про Клумпе-Думпе! – кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился, вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

– Еще, еще!

Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка, – лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» – думала елка; она вполне верила всему, что сейчас слышала, – рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! – думала она. – Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Полуночью явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать?» – подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? – думала елка. – Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи – никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! – думала елка. – Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

– Пи-пи! – пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать между его ветвями.

– Ужасно холодно здесь! – сказали мышенята. – А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

– Я вовсе не стара! – отвечала ель. – Есть много деревьев постарше меня!

– Откуда ты и что ты знаешь? – спросили мышенята; они были ужасно любопытны. – Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

– Нет, такого места я не знаю! – сказало дерево. – Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышенята никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

– Как же ты много видела! Как ты была счастлива!

– Счастлива? – сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. – Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

– О! – сказали мышенята. – Как же ты была счастлива, старая елка!

– Я совсем еще не стара! – возразила ель. – Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

– Как ты чудесно рассказываешь! – сказали мышенята и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

– Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне достанется!

Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, – она казалась ему настоящей принцессой.

– Кто это Клумпе-Думпе? – спросили мышенята, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышенята от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышенят, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

– Вы только одну эту историю и знаете? – спросили крысы.

– Только! – отвечала ель. – Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

– В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечи? Про кладовую?

– Нет! – ответило дерево.

– Так счастливо оставаться! – сказали крысы и ушли.

Мышенята тоже разбежались, и ель вздохнула:

– А ведь славно было, когда эти резвые мышенята сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» – подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца – ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

– Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

– Теперь я заживу! – радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребяташки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал...

– Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! – крикнул он и наступил на ее ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

– Все прошло, прошло! – сказала бедная елка. – И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски, – вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!..

Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

1844

Снежная королева

Сказка в семи историях

История первая

Зеркало и его осколки

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей –

уродами или казались стоящими кверху ногами и без животов. Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля – у него была своя школа – рассказывали о зеркале как о каком-то чуде.

– Теперь только, – говорили они, – можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчило зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекошило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наыворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны – ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уже в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее! А злой тролль хохотал до колик, так приятно щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала.

Послушаем же, что было дальше!



История вторая

Мальчик и девочка



В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удастся отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шел водосточный желоб, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли коренья и небольшие кусты роз – в каждом по одному, – осыпанные чудными цветами. Родителям пришлось в голову поставить эти ящики поперек желобов; таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями; образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут!

Зимой это удовольствие прекращалось, окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам – сейчас

же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок – это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

– Это роятся белые пчелки! – говорила старушка бабушка.

– А у них тоже есть королева? – спрашивал мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая.

– Есть! – отвечала бабушка. – Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

– Видели, видели! – сказали дети и поверили, что все это суцая правда.

– А Снежная королева не может войти сюда? – спросила девочка.

– Пусть-ка попробует! – сказал мальчик. – Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и все же живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах: девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним, – им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками – зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

– Ай! – вскрикнул вдруг мальчик. – Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но ни в одном глазу ничего как будто не было.

– Должно быть, выскочило! – сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

– О чем же ты плачешь? – спросил он Герду. – У! Какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу! – закричал он вдруг. – Эту розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, сорвал две розы и бросил.

– Кай, что ты делаешь? – закричала девочка, а он, увидя ее испуг, сорвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь старушка бабушка, он придирался к словам. Да хоть бы одно это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик выучился передразнивать и всех соседей – он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, – и люди говорили:

– Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда перепархивал снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

– Погляди в стекло, Герда! – сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

– Видишь, как искусно сделано! – сказал Кай. – Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо:

– Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками! – И убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням, чтобы прокатиться как следует. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади два раза Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал – никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина – Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

– Славно проехались! – сказала она. – Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

– Все еще мерзнешь? – спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

– Мои санки! Не забудь мои санки! – спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых кур, которая и полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

– Больше я не буду целовать тебя! – сказала она. – А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь – днем он спал у ног Снежной королевы.

История третья

Цветник женщины, умевшей колдовать



А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог сообщить о нем ничего. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и

долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнышко.

– Кай умер и больше не вернется! – сказала Герда.

– Не верю! – отвечал солнечный свет.

– Он умер и больше не вернется! – повторила она ласточкам.

– Не верим! – ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

– Надену-ка я свои новые красные башмачки – Кай ни разу еще не видал их, – сказала она однажды утром, – да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

– Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, – река как будто не хотела брать у девочки лучшую ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но людей не было ни души.

«Может быть, река несет меня к Каю?» – подумала Герда, повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневному саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им – она приняла их за живых, – но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

– Ах ты, бедная крошка! – сказала старушка. – Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

– Ну, пойдем, да Расскажи мне, кто ты и как сюда попала? – сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать, – пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в

любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от полу и все из разноцветных – красных, голубых и желтых – стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

– Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! – сказала старушка. – Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая, – старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки и глаза разбежались: тут были всевозможные цветы, и притом всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло мною дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что чего-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была как раз роза – старушка забыла ее стереть, когда загнала живые розы в землю. Вот что значит рассеянность!

– Как! Тут нет роз? – сказала Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду – нет ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они смочили землю – куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

– Как же я замешкалась! – сказала девочка. – Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? – спросила она у роз. – Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?

– Он не умер! – сказали розы. – Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

– Спасибо вам! – сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: «Не знаете ли вы, где Кай?»

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории; их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

– Слышишь, бьет барабан? Бум! Бум! Звуки очень однообразны: бум, бум! Слушай же заунывное пение женщин! Слушай крики жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом – о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра!

– Ничего не понимаю! – сказала Герда.

– Это моя сказка! – отвечала огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

– Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! «Неужели же он не придет?»

– Ты говоришь про Кая? – спросила Герда.

– Я рассказываю свою сказку, свои грезы! – отвечал вьюнок.

Что рассказал крошка подснежник?

– Между деревьями качается длинная доска – это качели. На доске сидят две маленькие девочки; платица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит позади сестер, обхватив веревки, потому что руки у него заняты: в одной – маленькая чашечка с мыльной водой, в другой – глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колыхнется от дуновения ветра. Доска качается. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки и хочет вскочить на качели, но доска взлетает кверху, собачонка падает, тьякает и сердится. Дети поддразнивают ее, пузыри лопаются... Доска качается, пена разлетается – вот моя песенка!

– Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае! Что скажут гиацинты?

– Жили-были три стройные, воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще – из чащи леса выплыли три гроба; в них лежали красавицы сестрицы, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

– Вы навели на меня грусть! – сказала Герда. – Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

– Динь-дан! – зазвенели колокольчики гиацинтов. – Мы звоним не над Каем! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не знаем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

– Ты, маленькое, ясное солнышко! – сказала ему Герда. – Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

– Ранняя весна; на маленький дворик приветливо светит ясное божье солнышко. Ласточки выются возле белой стены, примыкающей ко двору соседей. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка бабушка; вот пришла навестить ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота – он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее сердечке, золото и на небе в утренний час! Вот и все! – сказал одуванчик.

– Бедная моя бабушка! – вздохнула Герда. – Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и спрашивать цветы – у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через желтую лилию, та хлестнула ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

– Ты, может быть, знаешь что-нибудь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа. Что же рассказала желтая лилия?

– Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет, – она ведь один обман глаз. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота – лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платьица. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу себя, я вижу себя!

– Да мне мало до этого дела! – сказала Герда. – Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он подался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге! Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

– Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! – сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь белый свет!

История четвертая

Принц и принцесса



Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

– Кар-кар! Здррравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

– Может быть, может быть!

– Как? Правда? – воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

– Потихе, потихе! – сказал ворон. – Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

– Разве он живет у принцессы? – спросила Герда.

– А вот послушай, – сказал ворон, – Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

– Нет, этому меня не учили! – сказала Герда. – Бабушка – та понимает даже птичий язык! Хорошо бы и мне уметь!

– Ну, ничего! – сказал ворон. – Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал:

– В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты в свете и уж позабыла всё, что прочла, – вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне, – а веселья-то в этом ведь немного, как говорят люди, – и напевала песенку: «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» – подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать, – это ведь так скучно! И вот созвали по барабану всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! – прибавил ворон. – У меня при дворе есть невеста, она ручная, – от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона – каждый ведь ищет жену себе под стать.

– На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья! Да, да! – повторил ворон. – Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее же последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А вот выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не давали даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые уж не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отощат – принцесса и не возьмет их!»

– Ну, а Кай-то, Кай? – спросила Герда. – Когда же он явился? И он пришел свататься?

– Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

– Это Кай! – обрадовалась Герда. – Так я нашла его! – И она захлопала в ладоши.

– За спиной у него была котомка! – продолжал ворон.

– Нет, это, верно, были его саночки! – сказала Герда. – Он ушел из дома с санками!

– Очень возможно! – сказал ворон. – Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головою и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут, на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда, – торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.

– Это, наверно, Кай! – воскликнула Герда. – Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

– Да, они таки скрипели порядком! – продолжал ворон. – Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный!

– Вот страх-то! – сказала Герда. – А Кай все-таки женился на принцессе?

– Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, – так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

– Да, да, это Кай! – сказала Герда. – Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

– Легко сказать, – ответил ворон, – да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

– Меня впустят! – сказала Герда. – Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

– Подожди меня тут, у решетки! – сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

– Кар! кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне – там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая – гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как гоняли о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они и на площадке лестницы; на шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

– Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня! – сказала ручная ворона. – История вашей жизни – как это принято выражаться – также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим!

– А мне кажется, кто-то идет за нами! – сказал Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени; лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

– Это сны! – сказала ручная ворона. – Они являются сюда, и мысли высоких особ уносятся с ними на охоту. Тем лучше для нас – удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце!

– Не о чем тут и толковать! Само собою разумеется! – сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканном цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой – просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая – красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

– Ах ты, бедняжка! – сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них – только пусть они не делают этого впредь, – и захотели даже наградить их.

– Хотите быть вольными птицами? – спросила принцесса. – Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе – они подумали о старости и сказали:

– Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» – закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на Божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадей и пару башмаков, – она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и форейторов – ей дали и форейторов – красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею – он не мог ехать к лошадям спиной. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с

тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем – фруктами и пряниками.

– Прощай! Прощай! – закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

История пятая

Маленькая разбойница



Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили маленьких форейторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

– Ишь, какая славенькая, жирненькая. Орешками откормлена! – сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. – Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас!

– Ай! – закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо! – Ах ты, дрянная девчонка! – закричала мать, но убить Герду не успела.

– Она будет играть со мной! – сказала маленькая разбойница. – Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали:

– Ишь, как скачет со своей девчонкой!

– Я хочу сесть в карету! – закричала маленькая разбойница и настояла на своем – она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

– Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

– Нет! – отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

– Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, – я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он весь был в огромных трещинах; из них вылетали вороны и вороны; откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть, но лаять не лаяли – это было запрещено.

Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь; дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

– Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! – сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.

– Все мои! – сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так трянула его, что тот забил крыльями. – На, поцелуй его! – крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. – А вот тут сидят лесные плутишки! – продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянную решеткой. – Эти двое – лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина башка! – И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. – Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом – он смерть этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

– Разве ты спишь с ножом? – спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

– Всегда! – отвечала маленькая разбойница. – Как знать, что может случиться! Но расскажи мне еще раз о Каяе и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одной рукой шею Герды – в другой у нее был нож – и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке.

Вдруг лесные голуби проворковали:

– Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

– Что вы говорите? – воскликнула Герда. – Куда же полетела Снежная королева?

– Она полетела, наверно, в Лапландию – там ведь вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

– Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! – сказал северный олень. – Там прыгаешь себе на воле по огромным, блестящим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а чертоги ее еще дальше – у Северного полюса, на острове Шпицберген!

– О Кай, мой милый Кай! – вздохнула Герда.

– Лежи смирно! – сказала маленькая разбойница. – Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

– Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? – спросила она затем у северного оленя.

– Кому же и знать, как не мне! – отвечал олень, и глаза его заблестели. – Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам!

– Так слушай! – сказала Герде маленькая разбойница. – Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет – тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

– Здравствуй, мой миленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

– Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочат острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку – там ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее, ради осторожности, и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

– Так и быть, – сказала она затем, – возьми назад свои меховые сапожки – будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам; вот огромные матушкины рукавицы, они дойдут тебе до самых локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки!

Герда плакала от радости.

– Терпеть не могу, когда хнычут! – сказала маленькая разбойница. – Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе еще два хлеба и окорок! Что? Небось не будешь голодать!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

– Ну, живо! Да береги смотри девчонку!

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

– Вот мое родное северное сияние! – сказал олень. – Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

История шестая

Лапландка и финка

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную – она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

– Ах вы, бедняги! – сказала лапландка. – Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль с лишком, пока доберетесь до Финмарка, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске – бумаги у меня нет, – а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки – у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги – иначе девочке было бы чересчур жарко, – положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел – рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

– Ты мудрая женщина! – сказал олень. – Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один узел – подует попутный ветер, развяжет другой – погода разыграется, а развяжет третий и четвертый – подымет такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

– Силу двенадцати богатырей! – сказала финка. – Да, много в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, переменяя ему на голове лед, шепнула:

– Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

– Но не сможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

– Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Сила – в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет

проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подалее ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и не мешкая возвращайся обратно!



С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

– Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! – закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и по щекам его покатались крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька, на трескучем морозе, без сапог, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба – небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние, – нет, они бежали по земле прямо на Герду и по мере приближения становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые. Это были передовые отряда войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие – стоголовых змей, третьи – толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда принялась творить «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие, светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячу кусков. Герда могла теперь смело идти вперед; ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.

История седьмая

Что случилось в чертогах

Снежной королевы и что случилось потом



Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы редкий раз устроилась бы здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составила партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички – нет, никогда этого не случилось! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого, – поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайской головоломкой». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

– Теперь я полечу в теплые края! – сказала Снежная королева. – Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор – Везувия и Этны.

– Я побелю их немножко! Это хорошо после лимонов и винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте – такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.